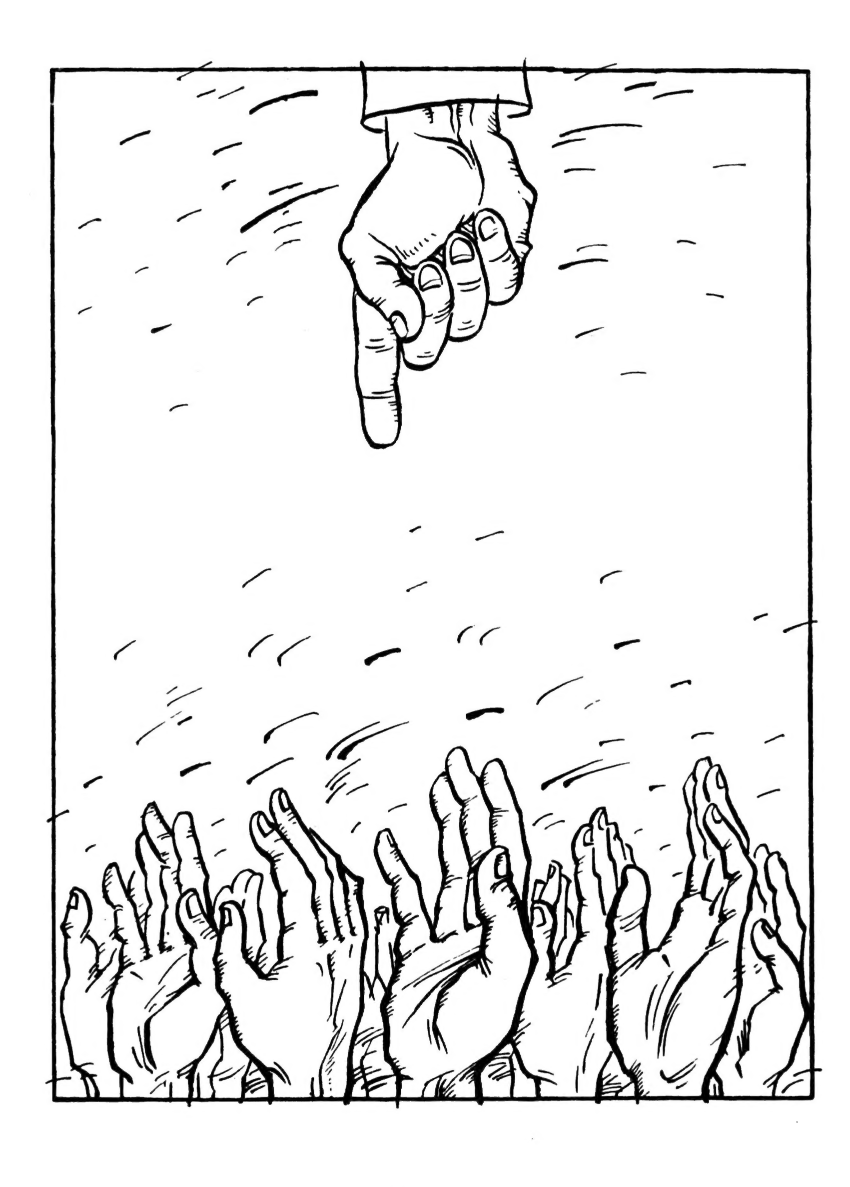
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
АПОФЕГЕЙ



ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

АПОФЕГЕЙ

Москва
Литературный фонд РСФСР
1990

84Р7
П54

Художник А. Волошин

Поляков Ю. М.

П54 Апофегей. Повесть и два эссе. М.: 1990.— Литфонд РСФСР.— 160 с.

Любовь и честолюбие, власть над людьми и неспособность сделать счастливым близкого человека, упоение номенклатурным взлетом и беспощадная жестокость аппаратных игр... Об этом и не только об этом «Апофегей» — новая повесть Юрия Полякова, хорошо известного читателям своим предыдущими книгами «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа»

П — 4702010201 — 1 без объявления **84Р7**
ISBN 5 — 85320 — 001 — 1

Источник твой да будет благословен,— и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ея да упояют тебя во всякое время, любовью ея услаждайся постоянно.

Книга притчей Соломоновых

...Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.

К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту былого лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.

...Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика — секретаря парткома пединститута

профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.

Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.

...Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубили «юпитеры», прибере-гая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрительный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим — просторный, как песнь ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку, наконец, прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, за тем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадочную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икэбанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине револю-

ционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.

Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный, оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-огое зависит!

Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта... хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что, кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай — черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости

телефон с маленьким золотеньким гербом державы на диске,— он, Ковалевский, сказал бы, не задумываясь: «Телефон!»

БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестоко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче,— Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей... И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательно подведенных глаз, она положила ее перед Бусыгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.

Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озаботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столику стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище: «Убивец»... Но об этом позже.

Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов.

Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского оставшийся в аппарате и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.

Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии...

Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец — тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же многоцветной японской авторучкой рисовал исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдопо-

добно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей щелкнет с листа и защекочет за шиворотом.

Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней, о существовании которой шоферы и не ведали, а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.

Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:

— От кого?

— Не знаю,— отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:

Уважаемый Валерий Павлович!

Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду «Досуг в районе». Буду ждать.

Н. А. Печерникова

Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.

— Печерникова...— встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома.— Печерникова... Кто это?

— Не знаю,— пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво поседевшим волосам.

— Только не надо из меня барбоса делать! — тихо возмутился Василий Иванович.— Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов...

Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревовещатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.

— Печерникова... Печерникова...— тужился вспомнить Мушковец.— По жилью она у меня не проходит. Кто такая?

— Понятия не имею,— спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.

* * *

Двенадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общаге в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами костерил администраторов и пустолобов от науки, тормозивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачли-

вого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.

Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших классов и школьную программу по истории называла не иначе, как «Сказки тетушки КПСС», с чем будущий секретарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»

До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 76-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягомотности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом приторможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляры.

Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования — бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой.

Доцент капризно сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны...

Однако бравый профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмущавшуюся приму.

«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» — представил он. «Извините... Я очень долго ждала троллейбуса...» — смущенно проговорила Надя.

Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые — пятидесятые они не пропускали мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с бельем да связочки любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалованья с трудом хватает и на одну семью...

Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут чепуху исключительно по причине незнания истории...

Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.

Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» — перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» — покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремевший по делу космополитов и низкопоклонников.

Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажить косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее было смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу для того, чтобы скрыть ненужную улыбку.

Надя тем временем изобразила на страничке запутанный лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично уставился в ее тетрадь. «Вас как зовут? — спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович...» — ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя почтительно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбраться из лабиринта...» «Зачем?» — тупея от непонятного волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню...»

Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной раз-

вилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот — самой длинной. «М-да,— нахмурилась Надя, что-то прикидывая.— Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». «А если бы я пошел другим путем?» — заволновался Чистяков. «Ну-у, тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке! — сообщила Надя и добавила: — Но первое слово дороже второго!...»

Услыхав это трогательное детское присловье, он, наконец, решился и посмотрел ей прямо в глаза — большие, светло-карие и абсолютно несерьезные.

«...А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощанье? — вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: — Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!...» «Мифологическое мышление!» — усмехнулся Желябьев. «Мышление!» — со значением ответил профессор Заславский. «Мышление...— вполголоса согласился доцент.— Мышление старого склеротика...» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва...

«Апофегей» — наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» — не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» «Почти всегда...» «Полный апофегей!»

Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.

Потом почти полгода они встречались на лекциях, засе-

даниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошниловкой», в Исторической библиотеке... Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над книгами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали — обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец... Надя ко всему на свете, включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником,— говорила она, имея в виду Бога,— чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть... А может быть, это тоже юмор, только черный?!»

Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию нескольких аспирантов и среди них — Надю. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кутепова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и прорваться поближе к кормушке, которую в 17-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.

С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надей приобретают оттенок необратимого товарищества.

В те баснословные года во дни торжеств народных на кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защит. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины — пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников — надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки — одна лишь лакейская мифология. Эта фраза являлась общеизвестным сигналом — и самый молоденький аспирант мчался ловить такси, потом происходил торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка оного в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчаса на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее сотрудниками.

Тогда, в апреле, все произошло по этой, раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьянка, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост... После того, как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище...» и продолжить праздник!

Доцент поймал частника, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и прихватили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница, ее имя Чистяков давно забыл, смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.

Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.

Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамочках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.

«Это — Мурильо! — кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую мадонну с озорничающим богочеловеком.— А это — мой дед, приват-доцент Московского уни-

верситета». «Какого? — съязвила Надя. — В Москве было два университета...» «Имени Патриса Лумумбы,— меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка.— Расширим сосуды и сдвинем их разом!»

Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты, Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала вилку.

Потом доцент, писавший докторскую о гражданской войне на Украине, ни с того ни с сего сообщил, что, по его глубокому убеждению, Нестор Иванович Махно напрасно повернул тачанки против Советской власти, осерчав на нехорошее отношение комиссаров к крестьянам. Если б не этот глупый шаг, батька так и остался бы легендарным героем, вроде Чапая, кавалером ордена Красного Знамени, а Гуляй Поле вполне могло называться сегодня Махновском. «А тамошние дети,— подхватила Надя,— вступая в пионеры, клялись бы: «Мы, юные махновцы...»

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых,— без тени улыбки возразила Надя,— народное сознание — не желудок, а во-вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспек-

тив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потея от вожделения и смущения, вдруг придвинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно»,— спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжко упало на пол. «Полный апофегей!» — вздохнула Надя. «Что?» «Это я сама придумала,— объяснила она.— Гибрит «апофеоза» и «апогея». Получается: а-по-фе-гей...» «Ну и что этот гибрид означает?» — спросил Чистяков, непоправимо тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто — апофегей...» «Междометие, что ли?» — назло себе же настаивал Валера. «До чего же доводит людей кандидатский минимум!» — вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! — вдруг горячо заговорила Надя.— Умею! Знаешь, как роскошно я врала в детстве? Меня почти никогда не наказывали — всегда отвиралась. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой — не то, что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застукали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости... Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь знамя? Но ведь так вели себя родители по отно-

шению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» «Не понимаю»,— сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносились теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиралась расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и, казалось, они передают по цепочке некое спешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе вообразившего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здоровенного НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свибловскую Сольвейг, но теперь у нее, наконец-то, начался ренессанс личной жизни, кватроченто... В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственного доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеческую жизнь в этом идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уж заняться настоящей личной жизнью — изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или, на худой конец, играющим в большой теннис...

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимал: весь этот легкомысленный попутный щебет — на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в нелюбви...

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты — работать, аспиранты и молодые преподаватели — надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полтораста студентов под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» — именно так значилось в нарядах. Чистякову поручили руководить ватагой грузчиков — крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они разъезжали по полю на полуторке и втаскивали в кузов гигантские «авоськи», набитые «корнеплодом морковь», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мгновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс заявился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, походил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а

когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные знания к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выцыганить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода щипковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

В белом платье с по-яс-ко-ом
Я запомнил образ тво-ой...

Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выгнанным, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сдохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнали за освященное многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородатым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпалыча на сцену! — кричала студентка Кутепова.— Валерпалыч, миленький,— «Проходит жизнь»! Ну, пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крылечко «бунгало», брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, хмурился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг — несколько резких аккордов, и:

Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,

Любовь проходит, проходит все...
Но я люблю. Я люблю. Я люблю...

А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличавшейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла,
Вечерело. Я стояла у ворот —
А по улице все конница идет...

«Потрясающая точность деталей! — совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя.— Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

Вот недавно — я вдовой уже была,
Четверых уж дочек замуж отдала —
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно стонал...

«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!...» — передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерепенились, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем, и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что

они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпаются бригадиры и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней,— и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпалыч был ей «заместо отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнущий пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекотун» — «запридух» — «подсердечник» — «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали — Убивец. Он тогда канал под пейзанина и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным,— причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно,— все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисеева, метро имени Кагановича... А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать... В страну знаний!

Волки: у-у-у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать зажравшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно — ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясо-молочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда, уездная...

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемо-сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот поспишь вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощанье ее прохладную руку. Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее вгоняла Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до беспамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! — говорила она на прощание понурому Чистякову.— Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат Германии, товарищ!..» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется, за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП — внезапно кончилась тара, те самые гигантские «авоськи», только теперь для «кочанной

культуры капуста». Материально ответственный начальник совхозного склада запил, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирину и еще чего-нибудь для простудившейся Наденьки Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, пообещал поснимать с должностей и все спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное представление о том, *что* это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, всуе упоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги — и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых «авоськах» за дверьми, запертыми снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирина и горчичников, в сельпо ему «свешали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллей».

В лагере было пустынно, только с кухни слышался смех и запах подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком пожарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее,

чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» — улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» — спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» — вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста»,— ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почудилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь,— пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцами по ее щеке.— Определенно тридцать восемь...» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и наклонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ... Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же... Войдут!» — прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясающе нежная. «Занавески, товарищ!» — обреченно приказала Надя, и Валера пляшущими руками задернул шторы с изображением слонов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ!» — шептала она, обнимая его.— Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалось, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала...

Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Москву, сделали в дороге вынужденную остановку: маль-

чики — налево, девочки — направо. Рядом с Чистяковым пристроился Убивец. «А ты, Чистюля, шустрый мужик!» — сказал он. «Не понял»,— отозвался Валера. «Вестимо,— согласился Иванушкин.— Перетрудил головку-то...» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посовещались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 59-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» — с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть поближе — и грянет молния...

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убивец уезжал в свой Волчехвостск к родителям подхарчиться, просачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убивец щедро угощал Чистякова, и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны: потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам

Убивца, прямо с папашиного комплекса шла на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» — удивлялся Иванушкин. «Потому что деньги вообще возбуждают»,— отвечал Чистяков. «Вестимо»,— соглашался Убивец и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жахнуть среди бела дня в многолюдном месте, они ехали в Надину «хрущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синематографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт», как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вожделение Чистякова именовалось — «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слоев советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость — «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности — «Временные трудности», а различного рода любовные изыски — «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск — приобщаться к благостыне истинной веры. Наши герои-любовники, естественно, решили вос-

пользоваться такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыли!» — простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: — Будешь знакомиться! Я их задержу...»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повествует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорск они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коломенское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно... Держать мамулька и ее друга жизни в прихожей было неприлично, дверь начала медленно приоткрываться, одевшийся Валера заранее изобразил на лице радость знакомства с родственниками девушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской пары, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это — мой коллега Валерий Павло...— светски начала Надя, но, увидев обложку, осеклась и, давясь от хохота, смогла, добавить только одно слово: — Апофегей!»

* * *

Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

— Спасибо, Игорь Феликсович! — державно улыбнув-

шись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул в программу сверить имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» — подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! — Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии.— Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно...» Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму...

«А может быть,— размышлял Валерий Павлович,— нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было... А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя... Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся дру-

зьями ворогов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко...»

— Проснись и послушай! — Мушковец толкнул Чистякова в бок. Валерий Павлович очнулся и напряг слух.

— Вот поэтому-то,— вещал БМП,— я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насоветуют, люди потом слушают и ничего не понимают...

Зал захлопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали — бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным — выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял просмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай...

— Итак,— продолжал БМП,— научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. Но и без живого практического опыта тоже никуда. А носитель опыта — человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!...

Зал снова зааплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понравилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялись на трибуне и люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции

2 Заказ № 4451

метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там в отличие от недавних времен не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:

— Прямо-таки апартаменты...

— Стараемся, Михаил Петрович,— по-китайски закивал головой директор ДК.

— Оно и видно,— не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь.— Умеет столица жировать! Всю страну прожрет и не заметит...

Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай один-единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру. Мушковец постарался очутиться вблизи первого секретаря и, воспользовавшись случаем, завел разговор о задуманной вместе с Чистяковым серии мероприятий под условным названием «День рождения дома». В двух словах: молодые ребята из неформального объединения «Феникс» по субботам и воскресеньям восстанавливают ветхий жилфонд, имеющий историко-культурную ценность, а потом вокруг как бы возрожденного из пепла здания устраиваются народные гуляния с выступлением фольклорных и роковых ансамблей, лекциями краеведов, продажей прохладительных напитков и выпечки. БМП кивал, но лицо его было непроницаемо.

— Понимаете, Михаил Петрович,— канючил Мушковец,— на каждом таком доме теперь будут две мраморные таблички. Обычная: построен... архитектор... охраняется государством... И наша, особенная: дом восстановлен тогда-то, такими-то ребятами...

Не дослушав Василия Ивановича и даже ничего не ска-

зав, Бусыгин вдруг широко распахнул объятия, дружественно заулыбался и пошел навстречу щупленькому пареньку — «афганцу», который наконец-то решился съесть бутерброд и от неожиданности уронил его на скатерть. Стакан чая из рук первого секретаря ловко перехватили, он крепко обнял «афганца», похлопал по спине и начал расспрашивать, когда тот воевал, ранен ли, за что получил «Красную Звезду», как идет жизнь, нет ли проблем? Проблемы были: парень недавно женился, обзавелся ребенком, а жить негде...

БМП оглянулся на Мушковца и со словами: «Ну-ка, птица Феникс, лети сюда!» — поманил его пальцем.

Когда через минуту-другую Василия Ивановича отослали прочь и он обреченно подошел к Чистякову, лицо зампреда исполкома было покрыто сиреневыми пятнами.

— Все понял? — тихо спросил он и начал нервно поедать бутерброды.

— Понял,— кивнул Валерий Павлович, отлично знавший, что в районе десятки неустроенных «афганцев» и что проблема эта не решится, даже если Мушковца прилюдно расстреляют в скверике перед райкомом партии.

— Надо катапультироваться! — промямлил набитым ртом Василий Иванович.— Теперь пора — по белой нитке ходим!

— Нашел что-нибудь?

— Да так... Тебе тоже советую. Не слушал дядю Базиля. Сейчас бы шнырк на кафедру и отсиделся в науке!

Уже много лет опытный Мушковец твердил Чистякову, что тот делает огромную ошибку, не работая над докторской диссертацией, ибо кандидатов нынче столько развелось, плюнь за окно — попадешь в кандидата. Но легко сказать: защищайся! А если к концу рабочего дня в голове полумертвая мешанина да одно-единственное желание — доползти домой и смыть скорее с лица это изматывающее выражение доброжелательной заинтересованности и госу-

дарственной озабоченности. И если вместо того, чтобы выпить свои законные двести граммов, без чего Чистяков уже много лет не засыпает, а потом расслабиться у камина или телевизора, каждый божий вечер садиться за книги, то однажды тебя выведут из Исторички тупо улыбающимся и завернутым в смирительную рубашку. Кстати, о камине... Это была совершенно идиотская, застойная выходка: в городской квартире! со спецдымоходом!! в счет капремонта!!! И ведь Чистяков как чувствовал, до последнего отнекивался, мол, и с батареями не мерзну, а Мушковец стыдил, настаивал, других приводил в пример. БМП наверняка уже все знает, но помалкивает, потому что погреться у живого огонька захотелось не только Валерию Павловичу, и пока его теплолюбивые соседи будут сидеть на своих должностях, все будет тихо...

— Пойду прогуляюсь в фойе,— сообщил Чистяков и поставил стакан.

— К этой? Не ходи! — взмолился Василий Иванович.— Валера, я тебя прошу!..

Направляясь к двери, Чистяков лицом к лицу столкнулся с профессором Желябьевым, который даже поперхнулся чаем, сообразив, что вот сейчас прямо на глазах Бусыгина опальный секретарь может по старой дружбе обнять основного докладчика или в лучшем случае шумно поздравить его с прекрасным выступлением. И, как бы подтверждая эти опасения, Валерий Павлович немного замедлил шаг, но, увидев на потомственном профессорском личике смертельный испуг, презрительно усмехнулся и прошел мимо.

В фойе люди разминались перед новым двухчасовым сидением. Одни с недоумением разглядывали товар, только что сгоряча схваченный в околоприлавочной толчее, другие, собравшись группками, обсуждали ход конференции и очень хвалили Бусыгина.

Сквозь толпу активистов Чистяков продвигался мед-

ленно, многие знали его в лицо, бросались навстречу, тискали руку, он допускал, но любые попытки на ходу решить какой-нибудь горящий вопросик пресекал в корне: иначе до заветного стенда не добраться никогда. «Не-ет, люди меня знают, уважают! — думал секретарь райкома, чуть морщась от очередного крепкого рукопожатия.— Не-ет, мы еще поборемся!» Впрочем, краем глаза Чистяков заметил, что некоторые вхожие в райком низовые деятели, еще недавно кидавшиеся к нему с сыновней преданностью во взоре, подходить и здороваться не стали... «Вот она — желябьевщина!» — вздохнул Валерий Павлович и с гордостью припомнил, как сам он все-таки зашел в кабинет к «освобожденному» Ковалевскому проститься. Правда, зашел поздно вечером, когда в райкоме, кроме дежурного милиционера и шоферов, никого не осталось...

Надя Печерникова стояла возле стенда и, казалось, внимательно рассматривала диаграмму роста количества культурных учреждений в районе с 1917 года по настоящее время. С абсолютного нуля кривая взмывала вверх, потому что еще совсем недавно на месте Краснопролетарского района стояли там и сям деревеньки, а божьи храмы диаграммой не учитывались.

Чистяков не видел Надю больше десяти лет, с того самого вечера, когда они на квартире Желябьева отмечали защиту чистяковской диссертации. Валерий Павлович почему-то готовился увидеть поблекшую, ярко накрашенную даму, которая, гримасничая увядшим лицом, будет намекать на их прошлые отношения, а потом что-нибудь обязательно попросит. Друзья молодости к нему просто так давно уже не ходят. И еще ему представлялось почему-то, что Печерникова непременно растолстела, оплыла и приобрела тот наступательный вид, какой замечаешь у людей, хорошо поработавших в школе или правоохранительных органах.

Но Надя почти не изменилась. Только вместо стянутого

аптечной резинкой хвостика была модная короткая стрижка, а вместо затертых вельветовых джинсов — хороший темно-серый костюм, вроде тех, что были недавно в райкоме на выездной торговле: юбка, жакет и тонко подобранный легкий шарфик. Присмотревшись повнимательнее, Чистяков отметил, что она похудела, научилась интересно пользоваться косметикой, а глаза ее, прежде вызывающе несерьезные, погрустнели... И еще в ней появилась та очевидная замужняя строгость и недоступность, которая делает совершенно нелепыми и даже кощунственными воспоминания о том, будто некогда эта же самая женщина без сил лежала рядом с тобой на влажных от любви простынях и шептала тебе на ухо какую-то нежную и счастливую чепуху...

— Здравствуй, товарищ! — неожиданно для себя заговорил Чистяков.— Сколько же лет мы не виделись?

— Здравствуйте, Валерий Павлович,— тихо ответила Надя и протянула руку — пальцы у нее были такие же хрупкие и прохладные.

— А я записку получил и все тебя в зале высматриваю...— смутился Чистяков, чувствуя, что по привычке заговорил так, как если бы оказался в заводском цеху или на строительной площадке во время плановой встречи с рабочим классом.

— Мы сидим на балконе,— объяснила Надя.

— Понял. Как жизнь? В школе работаешь — сеешь разумное, доброе, вечное?

— Доброе...

— Как супруг? Олег... Правильно? — энергично спрашивал Чистяков, злясь на себя за то, что теперь впал в стиль вечера встречи выпускников.

— Правильно. У мужа вышла книга. В прошлом году...

— Молодец — настырный мужик! А вот ты, товарищ, науку зря забросила. На кафедре долго не могли поверить, что Печерникова сбежала! Заславский все твердил, что ты

самая талантливая его аспирантка. А Заславский, царствие ему небесное, как Собакевич, мало кого хвалил...— Чистяков все говорил, а сам ждал, когда же она, наконец, ободренная этими теплыми воспоминаниями о давних временах, решится и выложит свою просьбу. «Очень интересно, что она попросит. Просто очень интересно!» — думал Валерий Павлович, а вслух продолжал: — И Желябьев, основной наш докладчик, тоже тебя недавно вспоминал. Надумаешь вернуться в большую науку — поможем...

— Не до науки, Валерий Павлович,— ответила Надя.

— Дети? — понимающе улыбнулся Чистяков и почувствовал внезапно горькую обиду, которую сам себе объяснил так: как кошки, понародят ораву на двадцати метрах, а потом решай им жилищный вопрос — «афганцев» селить некуда!

Надя кивнула и прикусила губу, но не так, как раньше, чтобы скрыть ненужную улыбку, а совсем по-другому...

— Сколько же вы с Олегом настрогали? — усмехнулся Валерий Павлович.

— Сын...— вымолвила Надя, и по ее щекам покатились слезы.— Один. У него ХПН в терминальной стадии... И он совершенно не переносит гемодиализа...

— Не понял... Что? — оторопел Чистяков.

Оказалось, у Надиного сына хроническая почечная недостаточность в практически безнадежной стадии. Спасение одно — гемодиализ, регулярная перегонка, очищение крови через специальные фильтры. Но ребенок неизвестно почему от этих процедур просто чахнет на глазах, кости стали такие хрупкие, что за последний год трижды ходил в гипсе. Врачи в один голос говорят: трансплантация! А очередь на пересадку в Нефроцентре, который находится в Краснопролетарском районе, расписана на полтора года вперед и, главное, почти не движется из-за отсутствия донорских почек.

— Сочувствую... Надо подумать... Ну, не плачь, пожа-

луйста...— бормотал Чистяков, а сам горько жалел, что не пришла она к нему полгода назад, при Ковалевском, когда Валерий Павлович решил бы этот пустячный вопрос одним звонком в партком Нефроцентра, да еще с прибауточками, с аппаратным матерком.— Где же ты раньше была, товарищ?

— Мы добивались... Мы писали... А там все без очереди идут. Если он умрет, я сойду с ума...

— Прекрати! — твердо приказал Чистяков.— Нерешаемых вопросов не бывает. Давай встретимся в следующем перерыве здесь же. Выше голову, товарищ!

— Правда? — переспросила Надя и посмотрела на него почти так же, как в тот давний день, когда он принес ей в «бунгало» лекарства и мед. А может, ему и показалось.

...После перерыва первым выступал ветеран труда, потомственный хлебопек, и очень жаловался, что поэты и композиторы до сих пор не написали ни одной песни о людях, регулярно доставляющих к нашему столу свежий душистый хлеб.

— Что же это получается — хлеб есть, а песен нет? — улыбнувшись, поинтересовался Бусыгин и шутливо погрозил пальцем сидевшему в первых рядах и представлявшему на конференции творческую интеллигенцию известному композитору, а тот в ответ многообещающе закивал: мол, сделаем!

— По белой нитке ходишь, Валера! — наклонившись, проговорил Мушковец. После перерыва он не стал отсаживаться от Чистякова, видимо, рассчитав, что в таком случае факт их временного соседства станет еще заметнее.— Чего она от тебя хочет?

— Мы вместе учились в аспирантуре,— ответил Валерий Павлович.

— Тер ее, небось, по молодому делу? — осклабился Василий Иванович.

— Пошел к черту! — рассердился Чистяков.— Пацан у нее умирает. Почки. Пересадка нужна...

— Так я и знал,— поскучнел Мушковец.— БМП Нефроцентр лично на контроле держит. Доворовались, мазурики!

Чистякову не нужно было объяснять, насколько трудно, невозможно выполнить сегодня Надину просьбу. Состоялось специальное заседание бюро райкома партии, на котором поперли из рядов заместителя директора и влепили строгача секретарю парткома Нефроцентра за нарушение порядка госпитализации и очередности оперирования больных. Директор Нефроцентра своевременно перешел на другую работу, прислали нового — принципиального до тупости. Думали, этим кончится, так нет: по просьбам трудящихся пригнали жуткую комиссию, начали копать глубже, и всплыли факты чудовищных взяток (не последний человек в этом мире, Валерий Павлович даже не представлял себе, что бывают такие деньги!) — в общем, для нескольких граждан в белых халатах дело запахло совершенно иной спецодеждой.

Еще на том, разоблачительном бюро Бусыгин сказал, что берет под личный контроль «этот опозорившийся Нефроцентр» и будет зорко следить за тем, чтобы исключения, без которых, увы, наша жизнь пока еще невозможна, делались действительно в исключительных случаях. Обратиться к БМП с нижайшей просьбой посодействовать госпитализации сына одной знакомой — значило тут же, на ковре, получить оскорбительный, грубый отказ, а такого в своем нынешнем положении позволить себе Чистяков не имел права, ведь отказ — очень удобный способ проверить, твердо ли стоит на ногах тот, кто просит. Сумеет настоять, надавить, решить через голову — значит, твердо и с ним нужно считаться. Не сумеет...

* * *

Профессору Заславскому позвонили из толстого журнала и попросили порекомендовать кого-нибудь, кто мог бы написать развернутый отклик на «Малую землю», и он порекомендовал аспиранта Чистякова. Валера начал было отнекиваться, но ему ясно дали понять, что это — задание кафедры. Отклик сочиняли вместе с Надей, лежа в постели, в паузах между небывалыми единениями, благо Убивец отъехал за харчами. Пили сухое вино и хохотали как сумасшедшие, потому что текст наговаривали, подражая заплетающейся брежневской дикции. Надя придумала гениальную концовку: «Если в сердце твоем поселились сомнения, если душа ослабела в творческом полете, а тело устало в созидательном труде,— поезжай на эту опаленную огнем великую «Малую землю», где сражался отважный политрук. А не можешь поехать, сними с полки эту небольшую книгу, которая — лучше и не скажешь — «томов премногих тяжелей».

Отклик напечатали за подписью Чистякова, заменив слово «сомнения» на слово «уныние», и выплатили гонорар шестьдесят четыре рубля 37 копеек. Надя сказала, что деньги эти подхалимские и что у них есть единственный способ загладить свою вину перед историей — гонорар срочно пропить! Сначала они роскошествовали в ресторане «Узбекистан», потом перебрались в кафе-мороженое, а в завершение, купив на сдачу бутылку шампанского, поехали к хорошим знакомым, где их давно уже воспринимали как законную пару,— и там куролесили до глубокой ночи.

Наконец им постелили на кухоньке: головами они касались теплой батареи, а ногами — холодной эмали холодильника, шумно вздрагивавшего через равные промежутки времени. Хмельной и размякший, Валера страстным шепотом клялся Наде в любви и описывал свои

чувства с такой бессовестной восточной цветистостью, что «единственная и судьбой посланная» смеялась, предлагала даже разбудить хозяев, чтобы были свидетели, но сама при этом гладила Валеру по волосам и прижимала его голову к своей груди. «Надя! — вдруг сказал Чистяков.— Давай поженимся!» Но в этот самый момент холодильник прямо-таки подпрыгнул на месте и завибрировал с необыкновенным грохотом...

Мамулек с другом жизни уехала в дом отдыха по бесплатным профкомовским путевкам, и наши любострастники, ставшие, как выразилась Надя, счастливыми обладателями однокомнатной явочной квартиры, довели себя до полного головокружения от успехов. На очередном заседании кафедры профессор Заславский долго разглядывал совершенно одинаковые круги под глазами у двух сидящих в разных концах комнаты и почти не разговаривающих между собой аспирантов. «Надежда Александровна, голубушка,— наконец с укором спросил он.— О чем вы все время мечтаете?» «Что?» — встрепенулась Надя. «Понятно...» — вздохнул профессор.

Однажды на явочной квартире они лежали в состоянии глубокого энергетического кризиса, и Чистяков с расслабленным недоумением сообщил Наде, что его срочно вызывают в партком. Она пропустила эту информацию мимо ушей, потому что вообще относилась к руководящей силе общества с вызывающим пренебрежением. А Валера-то не однажды наблюдал, как увенчанные сединами и почетными званиями мастодонты науки, ворочающие в уме целыми историческими эпохами, на худой конец — периодами, входя в аудиторию, где назначено партсобрание, сразу превращались в кучку нашкодивших соискателей, которых может учить жизни любой взгромоздившийся на трибуну инструкторишка, еще год-два назад с трепетом протягивавший им — мастодонтам — свою зачетную книжку, униженно клянча «удик». Но вся штука заклю-

чается в том, что он, инструкторишка, уже прочитал проект готовящегося постановления бюро райкома партии, чего мастодонты не читали. А кто знает, что там, в этом постановлении? Может быть, решили подкрутить гайки и проверить политическую зрелость профессорско-преподавательского состава кафедры истории СССР педагогического института?! Но что есть политическая зрелость? Сегодня, скажем, договорились считать политически зрелыми блондинов, завтра, наоборот, брюнетов, послезавтра рыжих... А вот этот самый инструкторишка, он-то как раз и знает еще не выпавшую, грядущую масть!

«Ну что ты ворочаешься? — рассердилась Надя.— В суд тебя, что ли, вызывают?» «Лучше бы в суд...— вздохнул Чистяков.— Меня Желябьев на факультетском собрании за безынициативность критиковал...» «Твой Желябьев — сексуальный маньяк, а ты...» «Что я?» «Ты... Послушай, Валера,— вдруг совершенно серьезно проговорила Надя,— может, ты свой партбилет потерял? Ты давно его последний раз видел?» «Позавчера. Я взносы платил...» — посерел Чистяков и метнулся к пиджаку, повешенному на спинку стула. Билет с вложенной в него аккуратной промокашечкой был на месте. «Ты, Чистяков, станешь большим человеком,— грустно предсказала Надя.— У нас любят пуганых...»

Разобидевшийся Валера вскочил и стал одеваться. «Это разрыв?» — тоскливо спросила Надя, но он ничего не ответил, а только засопел в ответ. «Все кончено, меж нами связи нет!» — трагически продекламировала она.— Валера, если это разрыв, то можно обратиться к тебе с последней просьбой?» «Можно» — сквозь зубы ответил Чистяков. «Валера, переодень, пожалуйста, трусы! Они у тебя наизнанку...» Чистяков захохотал первым, но обида осталась.

В партию Валера вступил в армии, потому что служил нормально, свою специальность вычислителя освоил, офи-

церам не хамил, в праздники со сцены полкового клуба пел под гитару песни военных лет или декламировал стихотворение «Коммунисты, вперед!»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда, получает права
Командир, подымающий роту свою...

Однажды после развода секретарь полкового парткома майор Мищенко вызвал Валеру из курилки, приказал застегнуть воротник, поправить ремень, критически посмотрел на его ефрейторскую лычку, а также значок классного специалиста и спросил, не думает ли Чистяков о вступлении в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Мищенко нажал почему-то именно на слово «коммунистической», словно был еще какой-то выбор. Валера с врожденным тактом запел, что о такой чести даже и не помышлял. Майор с удовлетворением выслушал и, в свою очередь, подчеркнул: партийный билет не только большая честь, но прежде всего огромная ответственность. Одно дело — читать стишки со сцены, и совсем другое дело — быть впереди в ратном труде. Валера покорно кивал и понимал, что отказаться нельзя — просто не поймут, согласишься — весь оставшийся год, когда «старичку» надо бы отдохнуть и со вкусом подготовиться к «дембелю», пробегаешь, как последний салабон, оправдывая высокое доверие. Мищенко приказал Чистякову прибыть в партком и заполнить фиолетовыми чернилами все необходимые формы «согласно вывешенных образцов». И еще он приказал начиная с завтрашнего дня читать «Правду» от корки до корки.

Вместе с Валерой кандидатом в члены вступал молоденький лейтенант, недавно пришедший из училища: видимо, Мищенко получил разнарядку на солдата и офицера. Правда, лейтенантик отсеялся на дивизионной парт-

комиссии — не смог ответить, что произошло давеча на Багамских островах. Он начал было что-то крутить о борьбе национально-освободительных сил Багам с засильем транснациональных монополий, выступающих в союзе с местной феодальной знатью и крупной буржуазией, но его резко оборвали: «Правду», товарищ лейтенант, нужно читать!» Оказывается, на Багамских островах произошло извержение вулкана, в результате чего погибли несколько рыбаков и американский военнослужащий.

Получив кандидатскую карточку, Чистяков был вскоре произведен в младшие сержанты, потом в сержанты и до увольнения в запас неизменно избирался в президиумы на комсомольских собраниях роты. А вместо лейтенантика приняли в партию тихого сверхсрочника Кулика из города Николаева, куда майор Мищенко два отпуска подряд выезжал на отдых со всей семьей и гостил в большом доме Куликовых родителей.

Еще до армии, сразу после десятого класса, Валера поступал на истфак пединститута. На экзамене по специальности ему повезло: он вынул билет, который знал так, что от зубов отскакивало. Но экзаменаторы слушали его вдохновенный рассказ о походе Разина за зипунами с брезгливым равнодушием и в результате поставили гибельную четверку, заметив: «Бойко, но поверхностно». Глубоким, видимо, оказался ответ сдававшего перед Валерой, расфуфыренного дебила, тот спотыкался на каждом слове, и все время забывал, на какой вопрос отвечал, но получил «отлично». В общем, как в анекдоте: выходит ректор к возмущенным абитуриентам и говорит: «Товарищи, экзаменов не будет!». Ему орут: «Почему?!» А он отвечает: «Потому что все билеты проданы!»

Когда же сразу после армии Чистяков прибыл на собеседование в приемную комиссию того же самого пединститута, к нему отнеслись, просмотрев анкету, совершенно по-другому. «Современной школе,— сказали,— очень нужны

мужчины, тем более молодые коммунисты!» И поставили на анкете какую-то закорючку. Экзамены Валера сдал, сам не заметил как. Его не только зачислили в институт, но, учитывая стесненные жилищные условия в семье, в порядке исключения дали место в общежитии, предупредив, между прочим, что на него имеются дальние виды в смысле общественной работы.

Но тут-то и произошел сбой. В общаге проживал некто Шуленин, как это ни странно, студент филологического факультета, у которого была странная привычка в минуты дурного настроения вламываться в первую попавшуюся комнату и бить морду любому подвернувшемуся под руку собрату по альма-матер. Про эту особинку Шуленина каждому вновь прибывшему на жительство первокурснику рассказывали с той эпической обстоятельностью, с какой осведомляют о местоположении туалета, графике работы душевых комнат и буфета...

И вот однажды начинающий историк Чистяков, воспользовавшись отсутствием троих своих соседей, гудевших на четвертом этаже у девчонок, сидел, склонившись над столом, и с горделивым прилежанием, улетучивающимся обычно сразу после первой сессии, готовился к семинару по пропедевтическому курсу. Вдруг с грохотом рапахнулась дверь, и на пороге, словно в фильме ужасов, возник страшный в своем беспричинном гневе Шуленин. Теперь, пожив и понаблюдав людей, Чистяков мог с определенностью сказать, что у налетчика было какое-то нервное заболевание, выражавшееся прежде всего в буйной реакции на самые незначительные дозы алкоголя. Шуленин подошел к столу, сбросил на пол настольную лампу и, клокоча от ненависти, спросил: «Учишься, гадина?» «Учусь»,— миролюбиво ответил Валера, встал и сбил психического гостя с ног ударом в челюсть. Для грозы общежития все это было очень неожиданно, потому что обыкновенно его жалобно просили уйти, не брать греха на душу,

и, нападая, он, по сути не готовился к настоящей схватке. Но сказалось еще и то, что в армии, особенно на первом году, Валере приходилось драться почти каждый день, и он приобрел некоторые доведенные до автоматизма навыки. Когда же, рыча и отплевываясь, Шуленин начал подниматься с пола, Чистяков размахнулся, точно молотобоец с первого советского полтинника, и «ахнул» неприятеля по загривку сложенными вместе кулаками. Оставалось только перегрузить бесчувственное тело за порог и закрыть дверь.

Но, как говорится, «кумир поверженный — все бог!». Слух про то, что ужасного Шуленина отделал какой-то сопливый первокурсник с истфака, оказавшийся просто монстром рукоприкладства, пошел гулять по этажам и комнатам, дошел до совета общежития, рассматривался на очередном заседании, оттуда перекочевал в деканат и комитет комсомола института, а там сидели люди, которым, вероятно, ни разу в жизни не приходилось получать в глаз без всякой на то причины. Они постановили, что Чистяков превысил необходимые меры самообороны, зарекомендовал себя драчуном, а с такой репутацией о серьезной общественной работе и думать нечего. В результате членом институтского комитета комсомола стал Юра Иванушкин, принявший незадолго до этого две чудовищные шуленинские затрещины с подлинно христианским смирением. Но с Убивцем Валера близко познакомился много позже, когда они оказались соседями в аспирантском общежитии.

Судьба Шуленина тоже любопытна. Он не то чтобы попритих, но комнату, где жил Чистяков, обходил стороной, а на майские праздники выпал из окна четвертого этажа и грохнулся в цветочную клумбу. В больнице, очевидно, потрясенный полетом, он начал писать стихи, тонкие, нежные, по-хорошему чудноватые, перевелся в Литературный институт, и недавно Валерий Павлович видел в

книжном магазине его новый сборничек — «Прогулки по дну бездны».

Разминувшись с большой общественной карьерой и очень этим довольный, Чистяков трудился в факультетском научно-студенческом обществе, являясь при этом заместителем командира добровольной народной дружины, и однажды лично задержал бежавшего из мест заключения опасного рецидивиста, который напился и уснул на лавочке возле детского кинотеатра.

Что еще? На втором курсе Валера влюбился в шикарную девушку по имени Лиза Рудичева, одевавшуюся так, что, увидев ее, дамы-преподавательницы поджимали губы и отводили глаза. Чистяков, все еще ходивший в своем единственном сереньком костюмчике, купленном к школьному выпускному вечеру, а в качестве альтернативного варианта имевший синие брюки, пошитые из офицерского отреза, и зеленый свитер, связанный матерью по модели из журнала «Крестьянка», шикарных женщин робел и чурался. Пока он собирался с духом и средствами, подрабатывая на почте, за Лизой стал ухаживать хлыщеватый мгимошник, подкатывавший к разваливающемуся флигелю истфака на темно-кофейной «трешке». Лиза выходила к нему, царственно садилась в машину, подставляла щеку для ленивого приветственного поцелуя и черным пристяжным ремнем перечеркивала все Валерины надежды. Весенне-летнюю сессию Рудичева сдавала под другой, мужниной, фамилией и, затрудняясь с ответом на вопрос, не строила уже преподавателям глазки, но скорбно опускала их на выпиравшее под платьем плодоносное чрево.

Нельзя, конечно, сказать, что Чистяков влюбился в Лизу, будучи совершенным будденброком в сексе. В общежитии, как выразился один преподаватель на разборе очередной аморалки, царили «раблезианские» нравы, имелась компания общедоступных девиц (в основном почему-то с

инфака и факультета физкультуры), которые слетались по первому зову, сами приносили выпивку да еще норовили остаться ночевать, совсем не смущаясь того, что на остальных трех койках храпят соседи. Была одна вообще странная «лялька» по прозвищу «Карусель», любившая пропутешествовать за ночь по всем четырем кроватям. После окончания инфака она стала профессиональной путанкой, пользовалась ошеломительным успехом, особенно у посланцев третьего мира, а совсем недавно заявилась к Чистякову на прием и просила помочь с жильем: детей у нее трое, и все разного цвета...

Это «раблезианство» Валере быстро наскучило: надоело по утрам выгонять из комнаты капризничающих помятых девиц, осточертело являться в институт ко второй паре, лелея в туманной голове единственную мечту о кружке пива, утомили ночные студенческие споры до хрипоты, в которых иногда удавалось с блеском доказать, что твой оппонент еще больший дурак и невежа, нежели ты сам. Валера решил учиться, учиться и учиться, потом поступить в аспирантуру и стать научным работником, даже доцентом. Осуществлением своего плана он занялся серьезно и с настырностью паренька из заводского общежития. Чистяков смутно чувствовал: тот факт, что смолоду ему приходилось стоять в очереди в уборную, дает ему некие, еще самому не понятные преимущества в борьбе за существование.

На пятом курсе Чистяков считался готовым аспирантом, написал работу, занявшую второе место на республиканском конкурсе, успешно руководил факультетским научным студенческим обществом. Однокурсники женились, разводились, уходили в академические отпуска, мучились смыслом своей двадцатидвухлетней жизни, запивали горькую или, разинув рты, сидели на диссидентских сходках, а Валера, прозванный Чистюлей, гнул свою прямую линию. Однажды по какой-то методической надоб-

ности его пригласила к себе домой занудливая преподавательница философии и познакомила со своей дочкой, очень начитанной и трогательной гусыней, которая сразу же посмотрела на Валеру такими глазами, будто хотела сказать: «Ну зачем это нужно, я же все равно вам не понравлюсь...» Без пяти минут аспирант, понимая, что становится перспективным женихом, спел маме и дочке под гитару парочку жестоких романсов, выпил коньяку из каких-то лабораторно-крошечных рюмок, откланялся и от дальнейших приглашений уклонился. Большая наука могла соседствовать в его душе только с большой любовью!

В аспирантуру Чистяков не поступил, точнее, его не приняли из-за отсутствия мест, которые проданы, кажется, не были, но предназначались так называемым «целевикам», а те по странному стечению обстоятельств оказались исключительно детьми разных крупных боссов, включая и племянницу ректора института. Со своим красным дипломом и восторженной рекомендацией ученого совета Валера бодро вошел в класс и сказал: «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель истории».

В аспирантуру он попал на следующий год: у больших начальников случилась какая-то демографическая ниша, недобор по части детей и внуков, а может быть, Валере выпала счастливая карта своим рабоче-крестьянским происхождением олицетворять равные возможности всех категорий советской молодежи или же снова сработала партийность?.. Неизвестно, но директриса школы в голос рыдала, отпуская в большую науку единственного своего педагога-мужчину.

Любопытно, что Наде Печерниковой с аспирантурой помог отец, в молодости друживший с ректором, чего она не скрывала, но когда однажды Валера не то чтобы упрекнул ее, а как-то слишком настойчиво намекнул на то, как трудно торить себе путь без всякой поддержки, Надя со свойственной ей прямотой посоветовала своему любимому

вытатуировать на заднице слова: «Я сын трудового народа» и предъявлять их обществу в качестве последнего довода. Таким образом, размолвка, случившаяся между ними в связи с вызовом Чистякова в партком, не была ни первой, ни последней. Валера даже привык к Надиной резкости и, чем сильнее обижался на нее, тем больше вожделел. Согласитесь, в обладании умной и язвительной женщиной есть особая острота...

Секретарем партийного комитета пединститута в ту пору был доцент Семеренко Алексей Андрианович. Во времена борьбы с Зощенко он защитил кандидатскую диссертацию о созидательной функции советской сатиры, затем работал в горкоме партии, потом во главе комиссии прибыл в опальный педвуз, разогнал, искоренил (времена были крутые!) половину профессорско-преподавательского состава и оздоровил идеологическую обстановку настолько, что на бюро горкома рассматривали вопрос о фактах неоправданного избиения кадров высшей школы. Институт нужно было возрождать, и на это важное дело послали снова Алексея Андриановича. Лет десять он проработал ректором, потом его с тихим почетом передвинули в секретари парткома, а ректором поставили заслуженного специалиста в области сельскохозяйственной химии. Но без Семеренко все равно ни один вопрос в институте не решался: ректор, если ему на подпись приносили документы, к которым не была подколота скрепкой бумажка с резолюцией «Я — за». А. С.», начинал жалобно браниться и отсылал просителя в партком.

Увидав на пороге смущенного Чистякова, Алексей Андрианович сделал ход конем — вышел из-за стола и двинулся навстречу Валере, крепко пожал руку и постучал твердой ладонью по спине: «Читал, читал: «Если в сердце твоем поселилась усталость...». Молодец! И таких гвардейцев маринуют! Вот мелкобуржуазное болото!..».

Семеренко прямо-таки лучился, на столе у него лежал

раскрытый толстый журнал; рецензия, доставившая Валере и Наде столько веселых минут, была совершенно серьезно отчеркнута красными чернилами и испещрена плюсами и восклицательными знаками. До Чистякова постепенно начало доходить, что гвардеец — это он сам, а мелкобуржуазное болото — это партийная организация факультета. «Будем тебя, парень, выдвигать! Хватит им чужой век заедать! Молодежь у нас талантливая, хорошая у нас молодежь!» Все это Семеренко говорил, широко улыбаясь, а улыбка у него была зубастая.

Потом секретарша принесла два стакана чаю, и Алексей Андрианович стал расспрашивать о житье-бытье, о детстве, о родителях, в кого Валера удался такой темненький и кучерявый, трудно ли было служить в Забайкалье, понравилось ли работать в школе. По вопросам было ясно: личное дело Чистякова Семеренко проштудировал досконально. «Происхождение, парень,— это великая вещь!» — говорил Алексей Андрианович и наклонялся так близко, что Чистяков чувствовал тяжелое табачное дыхание секретаря парткома. Они пробеседовали почти два часа, Валера в основном слушал и кивал, мало что понимая.

А происходило вот что: цепкая и твердая рука Семеренко всем в институте порядочно надоела, и составился заговор, о котором, вероятно, знал и ректор, тоже тихо томившийся диктатурой Алексея Андриановича. Путчисты (в основном это были члены парткома) понимали: просто так горком своего человека в обиду не даст, а на общем собрании Семеренко свергать нельзя — сегодня спихнули институтского секретаря, завтра — еще кого-нибудь, повыше... Тогда разработали хитрый план: как ни в чем не бывало, на хорошем уровне провести отчетно-выборную кампанию, переизбрать на новый срок партийный комитет, пребывавший в одном и том же составе, если не считать естественной убыли членов, уже лет десять, а вот на пер-

вом, организационном заседании парткома спокойненько избрать секретарем не Семеренко, а профессора Елисеева, физика-акустика, которому за риск обещали выделить дополнительное помещение для лаборатории.

Но мятежники не учли главного: Алексей Андрианович во время войны руководил особым отделом партизанского соединения. И пока на вопрос председателя отчетно-выборного собрания, какие будут предложения по новому составу партийного комитета, один из заговорщиков разевал рот и шарил по карманам в поисках отпечатанного на машинке списка, на трибуну твердым шагом вышел доцент Желябьев и железным голосом зачитал такой составчик, что все ахнули: из прежних там осталось только три человека — ректор, Семеренко и профессор Елисеев. Из молодежи в новый список попали Чистяков и Убивец. Выступая с разъяснениями, инструктор горкома строго заметил, что членство в парткоме — не потомственное дворянство, что с белой костью мы покончили еще в 17-м году и что обновление выборных органов — ленинская норма жизни. Собрание возликовало...

На первом, организационном, заседании Валера, к своему изумлению, стал заместителем по идеологической работе, а вот профессор Елисеев наотрез отказался от портфеля зама по оргвопросам и просил ограничить нагрузку разовыми поручениями, так как нужно ремонтировать и оборудовать выделенные дополнительные помещения для акустической лаборатории. Замом по оргработе стал Убивец. Ректор, присутствовавший при всем этом, прямо-таки светился от радости и приговаривал: «Ну, Алексей Андрианович, ну, молоток! С таким боевым парткомом мы теперь горы сдвинем!» Но сдвинули самого ректора, через полгода он ушел в министерство не то чтобы с понижением, но и без особого повышения, а институт возглавил профессор Елисеев, которого, кроме акустики, больше ничто не интересовало.

«Полный апофегей!» — воскликнула Надя, узнав о том, что приключилось с ее другом, и поинтересовалась: зачем Чистякову все эти игры во главе с бывшим начальником особого отдела? «Нужно»,— насупился Валера. «А больше тебе ничего не нужно?» «Нужно оформить наши отношения...» Надя в ответ захохотала и сообщила, что еще недостаточно политически грамотна и морально устойчива, чтобы стать женой такого большого человека и коммуниста. Чистяков обиделся и заявил ей, что она вообще никогда не понимала его по-настоящему, но очень надеется, что, наконец, поймет, когда ему все-таки утвердят «эсеров», а ей окончательно завернут ее любимого Столыпина. Поймет, что разумный компромисс — признак ума, а глупое упрямство — свидетельство ограниченности и что, как известно, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно! «Спиши слова»,— попросила Надя.

В общежитии решили: негоже двум членам парткома тесниться в одном помещении — и выделили Чистякову и Убивцу по отдельной комнате. Валере досталась на третьем этаже, с окнами в садик, а комендант лично проследил, чтобы комнату обставили новой, только полученной со склада и еще пахнущей фабрикой мебелью, занавески же подобрали под цвет обивки, чего еще никогда в общежитии не случалось. Вахтерша теперь звала Чистякова к телефону не с руганью и попреками, мол, нечего казенную линию посторонней болтовней занимать, но приглашала «к трубочке», величая по имени-отчеству, а буфетчица обслуживала вежливо и накладывала порции побольше. Изменилось и его положение на кафедре: профессор Заславский, поздоровавшись, стал заводить с Валерой вежливые разговоры и бессмысленно льстил, а доцент Желябьев несколько раз аккуратно выпытывал, сильно ли осерчал аспирант Чистяков на ту давнюю товарищескую критику во время факультетского партсобрания. В довершение Валере неожиданно предложили прочитать пропедевтичес-

кий курс, и это благотворно сказалось на его финансовом положении.

Когда во Дворце бракосочетания подавали заявление, Надя совершенно серьезно спросила у неприветливой тетки: если, например, за те три месяца, которые нужно ждать ритуала, она найдет себе другого жениха или, скажем, Чистяков найдет себе другую невесту, сохраняется ли тогда назначенный день регистрации? А может быть, очередь нужно занимать снова?.. Тетка что-то невнятно пробурчала и с сочувствием поглядела на Валеру. В институте решили пока ничего никому не рассказывать.

Однажды Валера обсуждал в парткоме с Семеренко перспективный план занятий в системе партийного просвещения: тогда как раз входил в моду единый политдень, который Надя называла прививками от задумчивости. Алексей Андрианович вслух обдумывал кандидатуры докладчиков, темы рефератов и прочее, и вдруг ни с того ни с сего спросил, какого черта молодой партийный активист общеинститутского масштаба занимается разными паршивыми эсерами, начисто сметенными с лица земли народным гневом? Чистяков покраснел и осторожно ответил, что, мол, мы обязаны знать идейное оружие и внутрипартийную практику наших, пусть и побежденных, недругов... Семеренко серьезно похвалил за умный ответ и сообщил, что посоветовался и подобрал Валере новую замечательную тему — «Уральское казачество в боях за Советскую власть. На материале боевого пути Первого Красного казачьего полка имени Степана Разина». Валера заблеял, что он-де уже много наработал, что его интересуют именно эсеры как политический феномен... Алексей Андрианович успокоил: эсеров на Урале было до хреновой матери, поэтому наработанный материал не пропадет, зато тема диссертабельная, глубокая, в самый раз! В следующем году — шестидесятилетие славного полка, а его легендарного командира Николая Томина, слава богу, басмачи в 24-м

шлепнули, а не свои в 37-м... Нужно срочно съездить в командировку: Челябинск — Верхнеуральск — Свердловск, посидеть в архивах, потом — рука к перу, перо к бумаге... Освободим от всего, кроме политпросвета! А через годик, пожалуйста: «Уважаемые члены ученого совета!». ВАК, где защищенную диссертацию могли продержать до матрениных заговений, Семеренко тоже брал на себя: месяц-два, не больше!

Чистяков попытался раскрыть рот, но Алексей Андрианович не дал: «Благодарить потом будешь! У меня на тебя, парень, большие виды. Я не вечный, моторчик последнее время барахлит, в случае чего вверенное мне хозяйство должен в надежные руки передать. Иванушкин — хлопец активный, но, чую, были у него в роду кулаки или еще какие-нибудь мироеды. А ты, Валера,— наш, рабочая кость, и за то, что в эсеровском дерьме копаться будешь, спасибо никто не скажет... Даже если тему утвердят...»

Когда Чистяков, чуть не плача, рассказал Наде о своей новой теме, она вздохнула, погладила его по щеке и успокоила, мол, гражданская война на Урале, если писать честно, тоже интересный, почти не тронутый по-настоящему материал. Между прочим, с недавнего времени они стали реже встречаться, а «дружить», одно из Надиных словечек,— и того реже. То ли потому, что Чистяков сделался страшно занятым и метался между кафедрой и парткомом, то ли потому, что друг жизни мамульку достался квелый, постоянно бюллетенил, и даже «скоротечный огневой контакт» на явочной квартире стал практически невозможен, а в общежитие к Чистякову, пусть даже в отдельную комнату, Надя приходить мягко отказывалась, объясняя, что она теперь невеста и должна к свадьбе нагулять хоть немножко невинности.

Как-то раз в комнату к Валере заглянул бывший «сокамерник», а ныне «партайгеноссе» Иванушкин. Он уже потихонечку защитился, женился и получил московскую

прописку, но из общежития покуда не съезжал, так как затягивалось строительство кооперативной квартиры, на которую дал ему деньги отец. «Бояре, а мы к вам пришли!» — с порога пропел он и достал из полиэтиленового пакета бутылку водки. Сначала поговорили о благополучной защите Убивца: всего три черных шара и те наверняка в отместку за активную жизненную позицию, потом долго ругали ВАК за то, что по году тянут оформление кандидатского диплома, затем перешли на первокурсниц, в нынешнем году на удивление прыщавых и худосочных... Наконец, когда уровень в бутылке опустился ниже этикетки, Иванушкин издалека начал про то, что Семеренко, конечно,— прекрасный мужик, настоящий боевой батя, но время его, увы, прошло, особистские методы работы вызывают изжогу не только в институте, но и в райкоме партии; до недавней поры он держался благодаря своему фронтовому дружку, окопавшемуся в горкоме, но того неделю назад выперли на пенсию, и скоро полетит наш Алексей Андрианович, как фанерка над Парижем! Возможно, все решится в ближайший месяц, тогда возникнет вопрос о преемнике, им традиционно становится заместитель по оргвопросам, но все-таки желательно, чтобы эта плодотворная идея родилась в недрах парткома, а в райкоме, слава богу, есть кому поддержать. «А ты будешь моим первым замом! — пообещал Убивец.— Мы должны держаться вместе, поодиночке нас просто сожрут!» Разумеется, спохватился Иванушкин, все это он говорит на тот случай, если батю будут задвигать, так сказать, на печальную перспективу, а сам всей душой желает Алексею Андриановичу долгих лет жизни и плодотворной руководящей работы.

Судя по тому, как Убивец лихо делил портфели, о планах Семеренко и его видах на Чистякова он ничего не знал. И Валера ответил так: оба они очень обязаны Алексею Андриановичу, батя их заметил и вытащил, поэтому пусть все идет своим чередом. Если Семеренко решит сам уйти

на покой — тогда и надо будет думать, а пока, честно говоря, его, Чистякова, больше волнует история красного казачества на Урале. Такая, например, проблема: почему главком Иван Каширин порешил верного ленинца, члена партии с 1898 года Павла Точисского? «А кто он был, Каширин?» — спросил Убивец. «В каком смысле?» — не понял Валера. «В политическом». «Понимаешь, в источниках путаница, но есть сведения, что поначалу был анархистом...» «Так что тебе не понятно?» — удивился Иванушкин.

А потом было свадебное путешествие до свадьбы, та злополучная поездка в ГДР на конференцию молодых историков братских стран. Руководителем назначили Чистякова, и он высунув язык мотался между институтом, министерством, райкомом и ОВИРом, согласовывал темы рефератов, утрясал состав делегации, оформлял документы и получал инструкции — такие строгие, словно готовилась не делегация научной советской молодежи, а спецформирование для тайной засылки за рубеж и совершения теракта.

За неделю до отъезда слегла с аппендицитом аспирантка кафедры истории КПСС, и Валере удалось скоренько воткнуть в список Надю Печерникову. «Как там у нее с морально-политическим обликом?» — полюбопытствовал, просматривая выездные документы, Семеренко. «Устойчива»,— улыбнулся Чистяков. А Надя потом сказала, что в свадебные путешествия — она просто убеждена — нужно ездить до свадьбы!

Как только поезд «Москва — Берлин» миновал окружную дорогу, выпили по первой, пролетая Здравницу, махануди по второй, закусили и начали спорить. Обо всем. Но как-то незаметно уперлись в Сталина. Надя, горячась, стала доказывать, что Сосо панически боялся перемещения центра коммунистического движения в Европу, на родину этого самого марксизма, именно поэтому он и стравливал

Тельмана с социал-демократами до тех пор, пока фашисты не пришли к власти. Почему? Да потому, что ему не нужна была Германия победившего социализма, ему была нужна Германия, побежденная социализмом, то есть побежденная им, Сталиным. Гитлера же он просто хотел перехитрить. Очухался наш кот-игрун летом сорок первого, сидел, гад, ждал: вот сейчас войдут, наган к лобешнику и мозги на стенку. Но некому было войти, боевых ребят он еще с двадцатых годов начал замачивать: Камо шарахнул единственный в Тифлисе автомобиль, Котовского пристрелил взревновавший муж-рогоносец, Фрунзе на хирургическом столе прирезали... Ну, и так далее... Но к нему все-таки вошли, вползли: спаси, отец! И тогда он понял, что теперь с этим народом можно делать все, хоть дустом посыпать, ибо уже в минуту зачатия будущий человек заражается страхом перед властью! Вы никогда не задумывались о том, что сумасшедший героизм наших на войне — это кровавый способ хоть как-то возместить свою рабскую униженность в собственном Отечестве?..

Чистяков, как руководитель группы, во время дорожных споров соблюдавший немногословное достоинство, тут уж не вытерпел и упрекнул коллегу Печерникову в передержках и, повторяя слышанные инструкции, строго-настрого приказал, чтобы после Бреста подобных разговоров не было. Надя ответила, что приказ командира — закон для подчиненного.

А ночью, когда все уснули, они прошли в другой вагон, стояли в тамбуре, смотрели на убегающие ночные огоньки и целовались. Чистяков нежно упрекал ее за доверчивость и неосторожность, а она смеялась и говорила, что только в одном деле, которым они редко стали заниматься в последнее время, неосторожность может принести женщине неприятности. Валера, смеясь, твердо пообещал при первом же удобном случае изловчиться и сделать Надю матерью, а себя самого — отцом. «Да? — изумилась она.—

Вот с этого места, пожалуйста, подробнее!» Дело в том, что ребенка-то пока не хотел именно Чистяков. Ну, подумайте сами, куда он повезет его из роддома? В однокомнатную «хрущобу», где томятся семейным счастьем мамулек и спутник жизни? Или, может быть, в аспирантскую общагу, чтобы первыми жизненными впечатлениями детеныша стали длинный грязный коридор, вонючая кухня и коммунальный сортир?! И будут они блаженствовать втроем на двенадцати квадратных метрах среди казенной мебели и развешанных пеленок. Но ведь живут же так другие люди, в том же аспирантском общежитии!.. Ну и пусть себе живут... А он, Чистяков, понял, слава богу, что плохо жить — унизительно, а человек не имеет права унижаться!

Обнимая Валеру, Надя никогда не думала о последствиях, и все предосторожности Чистяков добровольно брал на себя, называлось это у них — «бдеть». Обычно Надя из последних сил приподнималась на локте, целовала Валеру в щеку и говорила: «Спасибо за бдительность, товарищ!»

В Берлине Чистякова поразили две вещи: во-первых, естественно, стена. Он шел по какой-то улице, параллельной Унтер-ден-линден, и уткнулся. Стена была довольно высокая, бело-голубоватая, с мягко закругленным верхом. Валера попытался себе представить, что такая же стена разделяет нашу Москву, рассекает, например, так, что высотка на площади Восстания — наша, а вот здание МИДа на Смоленке — уже заграница. Или наоборот... Попытался представить и не смог. Во-вторых, его удивило, что в городе есть дома, точнее, останки домов, еще не восстановленных со времен войны. Нет, не мемориальные развалины, так сказать, в назидание себе и другим, а просто обыкновенные руины, на которые на хватает ни рук, ни денег. «Ну, и нечего было лезть к нам!» — твердил он себе, стараясь освободиться от этого неудобного впечатления.

Началась конференция молодых историков братских

стран: доклады, сообщения, дискуссии... Все это было похоже на встречу добрых родственников, разговаривающих о погоде, здоровье детей, планах на отпуск и старающихся не касаться ни своих, ни чужих семейных неприятностей. Чистяков, как глава делегации томившийся в президиуме между носатым чехом и улыбчивым вьетнамцем, внезапно получил записку из зала, надписанную по-немецки: «Genosse Tschistjakov». Он с внутренним холодком развернул листок и прочитал по-русски: «Чистюля, не спи — замерзнешь! Н. П.».

Последний день в Берлине был у них свободный, только вечером планировался банкет по случаю закрытия конференции, и поэтому Чистяков отпустил молодых ученых отоваривать валюту. Надя растратила свои деньги очень быстро — накупила в дорогом магазине тряпок и косметики себе и мамульку. Она выходила из примерочной кабинки, завлекательно поводила плечами и спрашивала у ничего не понимавшего в женских нарядах Валеры: «Ну как, правда, роскошно?» Он значительно кивал, а приветливые немецкие продавщицы переглядывались и говорили: «Schön! Sehr schön!». Чистяков хотел было и на свой обмен купить что-нибудь для Нади, но она совершенно серьезно заявила, что совместного хозяйства они еще пока не ведут, а брать деньги, тем более валюту, за роскошь человеческого общения, как это делают некоторые прагматические женщины, она не приучена. И тогда Валера без лишних мучений вложил весь обмен в сервиз «Мадонна» со сценами из пейзанской жизни. Такой же, даже победней, он видел у Желябьева.

Потом они на последние марки набрали замечательного пива и соленого печенья, поднялись в чистяковский полулюкс (остальные члены делегации жили по двое) и прекрасно провели время. Надя отправилась в ванную, но через минуту выглянула оттуда и сказала Валере, засовывавшему бутылки в морозилку: «Иди лучше ко мне!

Хочешь, я тебя помою, как маленького?» А вечером руководитель делегации стоял в холле гостиницы и памятливым взглядом встречал запыхавшихся, увешанных свертками молодых ученых-историков, опоздавших к урочному времени.

Прощальный банкет хозяева организовали в большом рыцарском зале, в центре которого стояла бочка халявного пива, да еще официанты обносили гостей вином и шнапсом. На шведском столе теснилось совершенно безобразное изобилие закусок. Воспитанный в гастрономическом аскетизме, Чистяков даже и не предполагал, что существует столько сортов колбасы.

Начались тосты и спичи. Сначала говорили хозяева и с немецкой основательностью благодарили гостей за прекрасное участие в семинаре. Потом, как выразилась Надя, в порядке «алаверды», гости славили хозяев за организацию замечательного симпозиума. Дали слово и Чистякову, он к тому времени хватанул уже две кружки пива, дупелек шнапса и бокал шампанского, поэтому вдохновенно и раскованно — знай наших! — заговорил о великой исторической науке, которая не только познает минувшее, связывая воедино прошлое с настоящим, но и сближает людей и народы, разрушая все стены и преграды меж ними... Выступление Валеры понравилось, ему хлопали, но два самых главных немца удивленно пошептались и пытливо поглядели на Чистякова. Надя, когда он с победой вернулся к шведскому столу, сжала его локоть и прошептала: «Здорово ты им про стену впарил! Полный апофегей! Я тебя уважаю!..» «Про какую стену?» — не понял Валера и, пожав плечами, стал слушать, как щуплый кореец славит гиганта исторической мысли великого вождя и полководца Ким Ир Сена.

После той поездки Чистяков потом много раз бывал за рубежом, но до сих пор помнит, как мучительно медленно полз поезд последние сто километров, как они,

собравшись в одном купе, пели «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», как кричали «ура», пересекая окружную дорогу, как вышли с чемоданами на площадь Белорусского вокзала и с ностальгическим умилением прочитали огромный плакат «Экономика должна быть экономной». А хмурый таксист, наотрез отказавшись везти Надю в Свиблово, так тот просто показался родным человеком.

Готовясь к отчету о поездке в ГДР, Валера вручил всем членам парткома по сувениру — брелоку в виде маленькой пивной кружки, а Алексею Андриановичу персонально — подарочно оформленный спиртометр. Отчитался Чистяков быстро и складно: доклады членов делегации были сделаны на высоком идейно-теоретическом уровне и хорошо прозвучали, в дискуссии твердо отстаивали четкий историко-материалистический метод, на который, впрочем, никто и не покушался, разве что немножко югославы. Один реферат отмечен дипломом, каковой и прилагается к письменному рапорту. Семеренко благостно покивал и предложил было запротоколировать положительную оценку работы делегации молодых историков на берлинском симпозиуме, но тут неожиданно для всех слово попросил Убивец. Он встал и, поигрывая подаренным брелочком, спросил, глядя Валере прямо в глаза. Первое. Правда ли, что во время зарубежной поездки велись разговоры, порочащие роль партии в советской истории? Второе. Правда ли, что уважаемый Валерий Павлович, воспользовавшись своим руководящим положением, включил в состав делегации собственную любовницу — аспирантку Печерникову и во время поездки они даже не скрывали своих интимных отношений? Третье. Правда ли, что заместитель секретаря парткома по идеологии, выступая на закрытии симпозиума, призвал разрушить Берлинскую стену, защищающую первое немецкое социалистическое государство от посягательств НАТО? Члены парткома посмотрели на

Валеру так, как смотрят на ошметки человека, попавшего под экспресс.

Чистяков почувствовал, что лицо его стало багровым, а между лопаток потекла щекочущая струйка пота. Он до дурноты четко ощущал, как непоправимо затягивается пауза, и наконец мысленно выстроил фразу о том, что споры о неоднозначной роли Сталина в становлении социализма не есть очернение партии, что его слова об исторической науке, ломающей преграды между народами, ничего общего не имеют с призывом разрушить Берлинскую стену, обладающую, без сомнения, важным военно-политическим значением, и что его отношения с аспиранткой Печерниковой никого не касаются, что они подали заявление и скоро поженятся... Скажи тогда Валера эту длинную, продуманную фразу — и жизнь его пошла бы совсем по-другому: он никогда бы не стал секретарем райкома, он бы женился на Наде и у их ребенка, в это Чистяков твердо верил, были бы самые здоровые почки.

Но тогда, одиннадцать лет назад, прежде чем раскрыть рот, Валера глянул на Семеренко, а тот, сурово нахмурившись, в упор смотрел на своего любимца и медленно шевелил губами, точно жевал что-то. И Чистякову показалось, что эти беззвучно шевелящиеся губы произносят одно-единственное — «клевета». «Клевета! — твердо повторил Валера.— Клевета от начала и до конца!» «Откуда, парень, у тебя такая информация?» — тяжело спросил Семеренко у Иванушкина. «Был сигнал. Я разговаривал с членами делегации. В райкоме партии уже знают»,— четко ответил Убивец. «А вот не надо, парень, меня райкомом пугать! — осерчал Алексей Андрианович.— Ладно, учитывая серьезность выдвинутых обвинений, составим комиссию. Председателем буду я. Возражений нет? Свободны...»

После того как все ушли, Чистяков остался сидеть за длинным столом. Несколько минут Семеренко расхаживал по кабинету и матерился, почти до дна исчерпав бездонные

ресурсы меткого народного слова. «Но ведь не так было!» — пытался оправдываться Валера. «Но ведь было?» «Было...»

«А не должно быть! Ничего! — крикнул Алексей Андрианович.— По-твоему, Иванушкин сам допер? Не-ет, подсказа-али! Ты думаешь, парень, они тебя сожрать хотят? Не-ет! Я ж тебя, раздолбая, в кадровый резерв записал, документы в райком заслал. Ты — мой тыл, поэтому по тебе ударили. И время как удачно выбрали — прикрыть теперь некому. А ты, сопляк, дал повод! Так что, извини, накажу я тебя. В мои времена за такие дела в порошок стирали и по ветру развеивали, а я тебя даже из партии не погоню, дам строгача с прицепом. В аспирантуре останешься, защитишься, но из парткома я тебя шугану так, что они там в райкоме надолго заткнутся. А жаль... Хороший из тебя, парень, комиссар мог получиться! — Семеренко с досады хватил ладонью по столу, потом достал из маленькой пробирочки крупинку нитроглицерина и болезненно улыбнувшись, спросил: — Девка-то хоть стоящая?..»

В институтской раздевалке гардеробщик, дедуля с купеческим пробором, выдал Валере его плащ, помог надеть и даже смахнул со спины и плеч перхоть специальной щеточкой. До избрания в партком он просто кидал чистяковскую одежду на барьер и отворачивался. «Ничего, скоро снова начнет швырять!» — подумал Валера, и грядущее пренебрежение этого несчастного подавальщика показалось ему самым обидным во всей этой унизительной истории.

На кафедре Чистякову сказали, что все давно разошлись, дольше всех сидела Печерникова, но и она ушла полчаса назад. Валера вспомнил, что у нее сегодня примерка. Надя поначалу хотела просто купить свадебное платье в комиссионке, но мамулек обозвала ее дурой и собственноручно отвела в ателье.

Сам не зная зачем, Валера поехал к родителям. Они недавно получили в том же общежитии комнату побольше, метров восемнадцать, чем отец несказанно гордился. Надя однажды заметила: если у человека сначала отобрать все, а потом кидать ему крошки, то он будет благодарить и лобызать кидающую руку, не вспоминая даже, что она, эта рука, некогда все и отобрала.

Чистяков-старший работал токарем-расточником на заводе «Старт», уходил из дому затемно, в шесть утра, и с детства Валера запомнил: во время завтрака на столе неизменно стояла еще не вымытая матерью глубокая тарелка, словно покрытая изнутри бордовой плесенью. По утрам отец всегда ел первое, обычно борщ. Возвращался он с работы тоже рано, выпивал свою четвертинку, ужинал и дремал возле врубленного телевизора, но стоило выключить ящик или просто убавить звук — сразу просыпался. В десять отец окончательно укладывался спать и очень злился, когда Валера продолжал читать при свете ночника, ругался, обзывал всех дармоедами, вставал и выключал лампочку. Тогда сообразительный сын на деньги, сэкономленные от завтраков, купил себе фонарик и стал читать под одеялом, но суровый родитель обнаружил это и разбил фонарь об пол... Одним словом, путь к знаниям у Чистякова был такой же крутой, как у Горького. И только совсем недавно, лежа, уткнувшись лицом в теплое Надино плечо, он ни с того ни с сего догадался, что своим дурацким чтением в двенадцатиметровой комнатушке простонапросто мешал родителям любить друг друга. Ну конечно! Поэтому-то минут через пятнадцать после того, как гасили свет, мать спрашивала: «Валерик, ты не спишь?» А еще через некоторое время вставала и подходила к сыну, якобы поправить постель... Сестра-то была совсем маленькой и засыпала сразу после того, как ее напоят сладкой водой из соски. И еще Валера заметил: возвращаясь из пионерлагеря, он находил родите-

лей веселыми и дружными. Как, оказывается, все просто!

Отец в майке сидел перед включенным телевизором и ужинал, а сестра за письменным столом делала уроки, по многолетней привычке совершенно не обращая внимания на шум. Передавали футбол. Папаня при каждом остром моменте подскакивал и орал: «Ну!» Под это «ну!» и прошло детство Чистякова. Он вынул из портфеля бутылку коньяка и поставил рядом с наполовину пустой законной четвертинкой. «Коньяк?» — разочарованно спросил отец и полез в сервант за второй рюмкой. Валера подошел к сестре, дернул ее за косу, а когда она сердито обернулась, протянул ей плитку шоколада. Сестра взяла и пробурчала: «Лучше бы «Сюрприз» купил. Стоит столько же, а в десять раз больше!..» «Ты и так толстая»,— ответил он и пальцем показал ей грамматическую ошибку в тетради.

Отец принялся рассказывать последние новости: постепенно семьи из общежития разъезжались в отдельные квартиры, на их место заселяли лимитчиков, а те — хоть убей — отказывались выполнять коммунальные обязанности по уборке общественной кухни и туалета; пришлось одному умнику морду набить, теперь коридор как миленький подметает... «А ты-то чего пришел? — вдруг спросил отец.— Неприятности, что ли?» «Почему неприятности?» — удивился Валера. «Потому... Между прочим, вырастил тебя, дармоеда, и знаю как облупленного!»

Чистяков не удержался и скупо поведал, что партийной работой больше заниматься не будет, весь уйдет в науку. Отец покачал головой, поцокал и рассказал, как у них на заводе секретарь парткома получил новую квартиру третьим — после директора и главного инженера. Когда уговорили коньяк, из бельевого отсека желтого гардероба, который Чистяков помнил почти всю жизнь, на свет явилась бутылка портвейна «777» — тайные запасы. Вскоре Валера не выдержал и в подробностях рассказал о поездке,

о происках Убивца, о решении, принятом Семеренко. Отец слушал все это, качая головой, между делом поинтересовался, правда ли наше пиво по сравнению с немецким моча, а потом заявил, что, мол, Надька твоя тоже дура — нечего было ехать... Разоткровенничавшись, он даже рассказал один случай из своей жизни, очень похожий. Хотели его однажды сделать бригадиром, вместо Пашехонова, а тот пронюхал, что отца в конце смены хочет начальник цеха на беседу вызвать, и уговорил в обеденный перерыв выпить сухого винца. Руководство сразу почувствовало запах и уже больше никогда не обращало на отца кадрового внимания, но Пашехонова все равно из бригадиров погнали...

Валера так и не дождался, когда с вечерней смены вернется мать. С помощью сестры он уложил отца спать, поставив на всякий случай рядом тазик... «Куда будешь поступать после восьмого?» — нетвердо спросил Валера сестру, путаясь в рукавах пальто. «В кулинарный техникум!» — зло ответила она.

Из уличного автомата Чистяков позвонил Наде и попросил ее срочно приехать в общежитие, потому что произошли страшные неприятности. Через полчаса она сидела у него в комнате, и он снова, уже с каким-то пьяным остервенением, рассказывал о случившемся. «И всего-то,— пожала Надя плечами.— Стоило из-за такой ерунды напиваться!» Она усадила Валеру на кровать, устроилась рядом, положила его голову себе на колени и, поглаживая ему волосы, принялась успокаивать, мол, все к лучшему в этом лучшем из миров, и теперь он не будет тратить драгоценное время на разную ерунду, а займется наукой, он же талантливый, а все эти партигры — для посредственностей, которым, к сожалению, в нашей непонятной стране живется привольнее всех, и даже удивительно, что основоположники этого перевернутого общества сами были людьми недюжинными... «Но откуда,

откуда он все узнал?!» — вдруг всхлипнул Чистяков. «Ты еще зарыдай! — рассердилась Надя, но тут же спохватилась: — Валера, разве можно так распускаться? Какой же ты после этого грозный муж? Послушай, платье будет роскошное...» «Откуда он узнал!» — повторил Чистяков. И Надя стала терпеливо объяснять, что про их отношения давно уже знает весь институт, поэтому не нужно иметь особо извращенное воображение, чтобы догадаться, чем занимались они на немецкой земле. «А разговоры в купе?» — не унимался Валера. Ну, это совсем просто, отвечала она, симпозиум был занудный, и кто-нибудь из делегации мог рассказать Иванушкину, что в поезде споры были намного интереснее. «А про стену!» — застонал Чистяков. «Только ты не сердись,— попросила она,— про стену я ему сама рассказала... В шутку! Я же не знала, что он подлец...» «Ты?! В шутку?!!» — заорал Валера, вскочил с кровати и затрясся. «Не кричи, я же нечаянно...» «Нечаянно?» — передразнил он, гримасничая. «Если хочешь, считай, я сделала это нарочно, чтобы испортить тебе карьеру. Генсеком ты уже не будешь!» Чистяков размахнулся и ударил Надю так, что голова ее мотнулась в сторону и стукнулась о стену. Она закрылась ладонями и сидела неподвижно, пока кровь, просочившись между пальцев, не начала капать на джинсы. Тогда Надя достала платок, намочила его водой из графина, вытерлась, потом откинулась на подушку и прижала влажный платок к переносице.

Чистяков ходил по комнате и твердил себе, что поступил совершенно правильно, что она продала его Убивцу и теперь заслуживает ненависти и презрения. Надя дождалась, пока перестанет идти из носа кровь, припудрилась перед зеркалом и ушла, так ничего и не сказав.

Чистяков лег спать, ничуть не раскаиваясь в содеянном, а ночью, часа в три, вскочил от ужаса. Такое с ним

случалось в детстве, он просыпался от внезапного страха смерти и начинал беззвучно, чтобы не разбудить родителей, плакать. Нет, это была не та горькая, но привычная осведомленность о конечности нашего существования, а какое-то утробное, безысходное предчувствие своего будущего отсутствия в мире, делавшее вдруг жестоко бессмысленным сам факт пребывания на этой земле. В такие минуты он очень жалел, что не верит в бога. На этот раз Валера проснулся не от страха смерти — от ужаса, что он потерял Надю...

Когда на следующий день Чистяков, с трудом проведя семинар и отпустив студентов, принялся туповато проставлять оценки в свой кондуит, к нему подошла Ляля Кутепова. «Валерпалыч,— сказала она.— Я давно хотела вас попросить, не нужно завязывать галстук таким широким узлом, это не комильфо...» «Что?» — оторопел он. «Да не переживайте вы так! Ничего они вам не сделают, стукачи проклятые!..» А когда Валера, тяжело неся похмельную голову, вышел за ворота института, то увидел Надю: она смотрела на него с обычной усмешкой, и только плотный слой пудры придавал ее лицу странное выражение. «Надо поговорить!» — начала Надя, и сердце Чистякова на радостях споткнулось и пропустило положенный удар. Они дошли до набережной и побрели вдоль Яузы. Оказалось, Печерникову вызывали в партком, допрашивал лично Семеренко в присутствии Убивца и еще какого-то гладкомордого мужика из райкома. «Я пыталась объяснить им, как все было на самом деле, но, по-моему, их больше интересовало то, что у меня под джинсами...» «Спасибо...— Валера невольно улыбнулся и попытался взять ее за руку.— Ты знаешь, я вчера...» «Да ты что, Чистяков! — Она даже отпрянула.— Наш роман закончился. Совсем. Все кончено, меж нами связи нет...» «А платье?» — как полный дебил, спросил Валера. «Пригодится...» Но обиднее всего было то, что он никак не мог

вспомнить, откуда Надя взяла эту строчку: «Все кончено, меж нами связи нет!»

На очередном заседании парткома, к всеобщему изумлению, Семеренко зачитал письмо отсутствующего по болезни Иванушкина, который, ссылаясь на недобросовестность своих источников, брал назад все обвинения в адрес Чистякова и слезно просил прощения, объясняя свою трагическую ошибку самыми лучшими побуждениями. Убивца так после этого ни разу и не показавшегося в институте, вскоре забрали инструктором в отдел пропаганды Краснопролетарского РК КПСС. А Валере в конце концов объявили благодарность за высокий профессиональный и политический уровень, проявленный во время загранкомандировки. «Ну, ты, парень, даешь! — потрепал его Алексей Андрианович, задержав после парткома.— Как же ты, хитрован, на Кутепова вышел?»

Через неделю Ляля, подкараулив Чистякова у дверей факультета, поздравила Валерпалыча с благополучным окончанием всех неприятностей и пригласила отобедать у них в ближайшую субботу.

Жили Кутеповы в замечательном доме, сложенном из бежевой «кремлевки», недалеко от стеклянных уступов проспекта Калинина, в трехкомнатной квартире с огромным холлом, двумя туалетами, большой розовой ванной и специальным темным помещением для собаки. В общаге, где Валера провел детство, в таком помещении существовала целая семья. Квартира была обставлена и оснащена добротными, но недорогими и потому особенно дефицитными вещами, исключение, пожалуй, составлял японский видеомагнитофон, воспринимавшийся в те годы как домашний синхрофазотрон. Стены холла от пола до потолка были скрыты стеллажами, полными книг: подписка к подписке, серия к серии, корешок к корешку...

Николай Поликарпович Кутепов встретил Чистякова дружелюбно, но с церемониями, а пожимая руку, смотрел

в глаза с какой-то излишней твердостью. Кутепов носил чуть притемненные очки в интеллигентной оправе, имел высокую, зачесанную назад шевелюру с интересной, словно специально вытравленной, седой прядью и был одет в строгий костюм, белую рубашку, и только чуть распущенный галстук свидетельствовал о том, что крупный партийный руководитель пребывает в состоянии домашней расслабленности.

«Лялюшонок, иди помоги маме!» — распорядился он, и Ляля, демонстрируя дочернюю покорность, ушла на кухню. Кутепов пригласил Валеру к журнальному столику, на котором стояли обметанная золотыми медалями бутылка и серебряное блюдечко с тонко нарезанным лимоном. Повинуясь приглашающему жесту, Чистяков провалился в велюровое кресло, такое мягкое и податливое, что возникло опасение удариться задом об пол.

Прихлебывая, точно щупая губами коньяк, Николай Поликарпович расспрашивал об институтских делах своей дочери, заметил вскользь и про Семеренко: мол, испытанный боец, но время его прошло; потом ни с того ни с сего похвалил Валеру за мудро избранную тему диссертации и высказал соображение, что для профессионального партийного работника историческое образование, а тем паче кандидатская степень — в самый раз. Сегодня ведь науку матерком на открытия не подвигнешь, изнутри нужно знать проблемы, изнутри! Говорил Кутепов медленно, выстраивая законченные и выверенные предложения, хорошо держал паузу и только иногда — очень редко — простонародно путал ударения.

С пирогом из кухни появилась мама — Людмила Антоновна, полная, даже расплывшаяся женщина с красным и потным, наверное, от духовки, лицом. Перед тем как протянуть Валере ладонь, она тщательно вытерла ее о передник, а потом поинтересовалась, не озорничает ли ее Лялюшонок на занятиях.

Стол был хорош и напоминал выставку продуктов, давно уже исчезнувших из торговой сети. Нет, вы поймите правильно, по отдельности, если постараться, севрюгу, например, или греческие маслины, крабов, допустим, или судачка раздобыть и поесть можно, но так, чтобы все это непринужденно сошлось на одном столе во время рядового субботнего обеда,— такого Валере еще видеть не приходилось.

Застольная беседа состояла из деловитых вопросов Николая Поликарповича, вежливых ответов Чистякова, Лялиных хихиканий и причитаний Людмилы Антоновны по поводу якобы плохого аппетита у гостя, хотя Валера лично сгваздал добрую треть пирога с начинкой из белых грибов. Кутепов снова завел речь о диссертации, расспрашивал о гражданской войне на Урале и очень удивился, узнав, что Советскую власть там поддерживали всего три процента казачества. «Как чувствовали!» — засмеялась Ляля. А Николай Поликарпович очень серьезно заметил: «Когда бранят Сталина за жестокость, забывают про то, как трудно брали власть!»

К вечеру подъехал еще один гость — зампред Краснопролетарского райисполкома Василий Иванович Мушковец, земляк или дальний родственник Людмилы Антоновны, которую он почему-то звал «Людша», а Ляля, в свою очередь, величала его «дядя Базиль».

Дядя Базиль с ходу предложил выпить за тылы, за любимых жен, без которых мужчины, как партия без народа. Николай Поликарпович, становившийся от спиртного только рассудительнее и государственнее, согласился с этим тостом и добавил, что в женщине, как и в военной технике, главное не красота, а надежность. «Не скажи,— заспорил Мушковец,— одно другому не мешает. Людшу-то небось не за одну надежность брал! А Ляльку свою и вообще шехерезадой вырастил». Лялька хмыкнула и ушла на кухню помогать матери мыть посуду. «Дочь — молод-

чага!» — проводив ее взглядом, директивно отметил Кутепов и нежно улыбнулся. «А ты, значит, тот самый барбос, который хотел Берлинскую стену развалить!» — вдруг захохотал дядя Базиль и с такой силой заколотил Валеру по спине, словно хотел выбить смертельно застрявшую кость. «Клевета!» — автоматически ответил Чистяков. «Райком в игры играет,— заступился Николай Поликарпович,— а хорошие ребята страдают. Мы товарищей поправили...» «Вот ведь кошкодавы! — посуровел Мушковец и предложил почему-то на английский манер: — Давайте уыпьем уиски!»

Потом смотрели по видеомагнитофону «Белое солнце пустыни», и когда Верещагин-Луспекаев произнес свое знаменитое «За державу обидно!» — дядя Базиль всплакнул, а Кутепов, подумав, сообщил, что теперь понимает, почему космонавты так любят именно этот фильм. Вскоре из кухни вернулась Ляля и решительно изъяла захмелевшего Чистякова из общества Николая Поликарповича и Василия Ивановича, уже готовых запеть и шумно обсуждавших, с какой песни начать.

Она повела Валеру в свою комнату, все еще чем-то похожую на детскую, и показала толстенный каталог, недавно привезенный из Нью-Йорка. Эта книжища наверняка издавалась и засылалась к нам исключительно с подрывными целями, ибо в действительности такого обилия и разнообразия промтоваров не может быть, потому что не может быть никогда! Когда они, трогательно сблизив головы, листали многостраничный раздел дамских бюстгальтеров, в дверь тихонько заглянула Людмила Антоновна и, умильно вздохнув, скрылась.

Расходились поздно, после того, как Николай Поликарпович, поддавшись долгим уговорам дяди Базиля, поиграл на баяне. Оказалось, еще один такой же инструмент хранился у него в горкоме в комнатке для отдыха рядом с кабинетом; в трудные минуты он запирался, брал баян в

руки и отдыхал душой. «Поиграю минут десять — и давление в норме!» — улыбнулся Кутепов. Провожая Валеру до двери, он задержал его руку в своей и, медленно подбирая слова, потребовал, чтобы начиная с сегодняшнего дня на правах доброго знакомого Чистяков поблажки Ляльке не давал, а спрашивал с нее «по всей строгости и даже еще строже». Людмила Антоновна мигала добрыми глазами и приглашала заходить запросто.

На воздух вышли вместе с Мушковцом. У подъезда ждала черная «Волга», которую вызвал Кутепов, водитель спал, надвинув на лицо ондатровую шапку. Дядя Базиль заботливо решил подвезти ослабевшего Валеру и всю дорогу шумел о том, что окружающая гнусная жизнь просто кишит кошкодавами и такие изумительные мужики, как Николай Поликарпович, встречаются один на миллион, а таких замечательных девушек, как Ляля, попросту не бывает! Когда машина остановилась возле подъезда с освещенной вывеской «Общежитие педагогического института», Мушковец удивленно помотал головой, словно отгоняя наваждение, и тихо сказал: «Заходи как-нибудь, порешаем твой жилищный вопрос...»

Ночью Валере приснился сон, будто бы он снова пришел к заболевшей Наде в «бунгало», принес мед и лекарства, но она почему-то накрылась с головой, лежала неподвижно и не отзывалась. «Гюльчетай, покажи личико!» — попросил он и стал стаскивать с нее одеяло, а когда стащил, увидел не Надю — Лялю, она улыбалась и показывала ярко-малиновый язык.

Честно говоря, до того самого дня, когда они должны были идти во Дворец бракосочетания расписываться, Чистяков надеялся на примирение, он втайне думал, что Надя просто воспитывает его, дабы никогда больше в их грядущей семейной жизни не смел он поднимать на нее руку! Валера несколько раз пытался объясниться, но она смеялась в ответ или называла его занудой — человеком, кото-

рому проще отдаться, чем втолковать свое нежелание это делать. Чистяков позвонил даже мамульку, та всхлипывала в трубку и спрашивала, из-за чего они поссорились. Объяснять он не стал.

Миновал день их несостоявшейся свадьбы, наступила весна, и однажды возле факультета он увидел Надю в компании тощего и неряшливо одетого очкастого малого, очень похожего на тех, что в довоенных фильмах изображали до идиотизма рассеянных талантливых молодых ученых. «Это — Олег! — представила Надя.— Он пишет прозу...» «Про заек?» — скаламбурил остроумный Валера. «Прозаик,— кивнула Печерникова.— А это Валерий Павлович Чистяков — заместитель секретаря парткома по идеологии!» — сказала она это с той интонацией, с какой объявляют гостям любимца семьи, юного дауна с грушевидной головой и ясными бессмысленными глазами. Малый с усмешечкой кивнул, и Чистяков понял: неизвестно, как там у них в койке, но на предмет руководящей роли партии в обществе они поладили. Прощаясь, Валера пристально посмотрел на свою бывшую невесту, давая понять, мол, если так уж замуж невтерпеж, могла бы найти преемника и получше, чем этот засушенный богомол! Надя же ответила ему улыбкой, полной превосходства и тайной женской греховности.

Через несколько дней Ляля днем после лекции затащила Валерпалыча к себе, чтобы показать по «видику» новый, атасный штатовский фильм. Дома никого не было, оказывается, Людмила Антоновна, идентифицированная им как домохозяйка, тоже работала — преподавала античную литературу в Полиграфическом институте. Ляля поставила кассету и, пока тянулся нудный американский пролог с длинными разговорами и страдальчески наморщенными лбами, переоделась в обалденное черное кимоно, сварила кофе и приготовила тосты с сыром. А когда на экране началась эротическая сцена со стонами и непонят-

ным мельканием многочисленных конечностей, провела коготками по его груди и подставила губы для поцелуя. Обмирая от смущения и прислушиваясь к шорохам в прихожей, Чистяков с педагогической сдержанностью поцеловал ее и почувствовал себя чуть ли не растлителем. Не давая опомниться, Ляля повлекла его руку под кимоно: там оказалось совершенно голое тело и крепкие, как бицепсы, груди. Кожа была покрыта твердыми пупырышками и напоминала книжку для слепых. А в самый проникновенный момент, задыхаясь, Ляля прошептала: «Ну, милый, здравствуй!»

Кто ее выучил этому странному приветствию, неизвестно. Возможно, выудила из какого-нибудь видеофильма. Между прочим, несколько позже Чистяков все-таки поинтересовался приблизительным количеством своих предшественников, с которыми она здоровалась подобным образом. Спросил не из ревности, из любопытства. Ляля не моргнув глазом заявила, что в девятом классе у них образовалась дружная шведская семейка, но что с тех пор она поумнела и поняла преимущество индивидуального секса перед групповым; и, глядя на поглупевшее от неожиданности лицо Валерпалыча, студентка Кутепова долго и радостно хохотала.

Через полгода Чистяков защитился — ни одного «черного шара», а в выступлениях оппонентов — прямое указание: половина докторской диссертации уже есть, только работай! Поздравляя новоиспеченного кандидата наук, профессор Заславский тонко заметил, что в лице Валерия Павловича счастливо соединен талант исторического исследователя и общественного деятеля... «Поэтому не повторяй ошибки тех дураков, которые руководили нами до тебя! — сказал от себя сидевший рядом Желябьев и озабоченно добавил: — Пятнадцати может не хватить...»

Поясним: только-только вышло постановление, запрещавшее устраивать официальные банкеты по случаю

защиты диссертаций, и застолья, естественно, переместились из ресторанов и актовых залов институтов в квартиры. Желябьев еще за месяц предложил Валере в полное распоряжение свою квартиру, сообщив, что у него имеется для таких случаев девочка из заводской столовой, которая режет салаты с капиталистической скоростью, и что от Чистякова потребуется только «горючее» — бутылок пятнадцать. О предстоящем товарищеском ужине знала, конечно, вся кафедра, предвкушала, и, когда после объявления итогов тайного голосования Надя тепло поздравила Чистякова и хотела уйти, доцент Желябьев занервничал и сказал, что своим поведением аспирантка Печерникова ставит в неудобное положение их всех, ибо постановления власти нужно или нарушать всем вместе, или вообще не нарушать. Надя покорилась.

Первый тост подняли за историческую науку, второй — за свеженького кандидата, третий — за научного руководителя, четвертый — за южноуральских казаков и их славного командира Николая Томина, счастливо павшего от басмаческой пули и не харкавшего кровью в подвалах Лубянки, к которой даже Железный Феликс стоит сегодня спиной... Потом профессор Заславский стал горько корить Надю за то, что она, умница, написала прекрасную, но совершенно непроходимую первую главу и отказывается, скверная девчонка, исправить хоть одно слово. «Столыпин — великий государственный деятель! Но, голубушка, Надежда Александровна, время этой аксиомы еще не пришло. Только не надо тонко улыбаться и считать меня старым олухом... Под видом критики можно тоже сделать немало. Немало! Вспомните, милая, средневековых богословов...» И в подтверждение своего тезиса профессор Заславский стал рассказывать про осточертевшую всем встречу с монархистом Шульгиным. Вскоре заведующего кафедрой вынесли и уложили в такси.

В тот вечер Валера рюмок не считал и был в ударе.

Оглушительный успех имела история, которую сам Чистяков слыхал от одного специалиста по казачеству. Однажды Буденному к очередному юбилею решили поднести его портрет, конный. Живописец, получивший этот почетный заказ, стал просматривать старые фотографии, чтобы получше подобрать прототип для маршальского скакуна, благо с иконографией самого Семена Михайловича было все в порядке. И вот очень уж понравился художнику скакун под наркомом Ворошиловым, когда тот принимал один из парадов на Красной площади. На полотне благородное животное выглядело, как живое, хорош был и маршал, особенно усы! Автор уже просверлил дырочку для лауреатского значка. Повезли портрет Буденному, показали, а он как заревет: «Так-вас-распротак! Меня, Буденного, на Климкиной кобыле нарисовать! Вон отсюда!..» «Вранье, конечно, но очень смешно!» — похвалил, вытирая слезы, доцент Желябьев.

Между прочим, все были уверены, что именно в этот торжественный день Валера и Надя — а про их ссору знала вся кафедра — обязательно помирятся. Весь вечер Чистяков ловил на себе ободряющие взгляды доброжелателей, мол, давай-давай, другого случая не будет... И он чувствовал себя мальчишкой-школьником, написавшим девочке записку, про которую вдруг узнал весь класс. Помогая Наде тащить грязную посуду на кухню, где орудовала неутомимая девушка из заводской столовой, Чистяков заплетающимся языком, но гордо сообщил, что строчка «Все кончено, меж нами связи нет» — это, кажется, из Брюсова! Печерникова улыбнулась и сказала, что теперь видит перед собой настоящего кандидата наук...

Отключился Валера на оттоманке под Мурильо. Проснувшись среди ночи, он почувстовал во рту пресную сухость, а язык ворочался с каким-то наждачным скрежетом. В ванной комнате Чистяков включил почему-то душевой смеситель и стал пить, припоминая, что однажды уже

пил так, в детстве, в пионерском лагере,— из садовой лейки, и привкус воды был такой же металлический... Возвращаясь назад к оттоманке, Валера заблудился: в спальной дрыхли Желябьев и повариха, она так странно закинула на доцента голую ногу, словно хотела перебраться через него; в библиотеке на кожаном диване, застеленном простыней, под клетчатым пледом лежала Надя, наверное, она допоздна помогала наводить в квартире порядок после кафедрального разгула и осталась ночевать.

Чистяков тихо подошел к дивану, встал на колени и заплакал по своей утраченной любви. Темнота за окном начинала приобретать предрассветный серебристый оттенок. Возможно, Надя не спала, а может быть, ее разбудили рыдания несчастного диссертанта, она выпростала из-под пледа руку, погладила Валеру по мокрой щеке и прошептала: «Все было так хорошо, а ты все так испортил».

Утром Чистяков очнулся на кожаном диване, раздетый и заботливо укрытый пледом. Рядом никого не было, но подушка пахла Надиными волосами, на белой простыне чернел загадочный иероглиф потерянной шпильки, а в больной голове крутилась странная фраза: «А раньше ты был бдительным, товарищ!»

...На свадьбу по предложению остроумного Желябьева Наде подарили набор индийского постельного белья и двухтомник Шолохова «Поднятая целина». Секретарша Люся, представлявшая на торжестве кафедру и вручавшая общественные подарки, рассказывала потом, что на Печерниковой было восхитительное платье, что жених по имени Олег произвел занюханное впечатление, что на свадьбе было много поэтов и они замучили всех своими стихами.

Вскоре Надя ушла из аспирантуры и стала работать в школе. С тех пор Валера ее не видел.

Алексей Андрианович сдержал свое слово: в ВАКе диссертация пролежала два с половиной месяца. Получение кандидатского диплома, ужасно нескладного, коричневого,

с дурацким розовым бумажным вкладышем, праздновали у Кутеповых, в семейном кругу. Между тушеной парной бараниной и десертом Чистяков сделал официальное предложение Ляле. Николай Поликарпович задумчиво сообщил, что, по его мнению, прочная семья — единственный залог жизненных удач и успешного служения обществу, а присутствовавший при сем дядя Базиль заявил, что у двух таких замечательных барбосов, каковыми являются Валера и Ляля, будут очаровательные барбосики. Людмила Антоновна в этот исторический момент находилась на кухне и вынимала из духовки торт, а когда обо всем узнала, то прочитала жениху и невесте стихотворение Степана Щипачева «Любовь — не вздохи на скамейке»...

Свадьбу играли в хорошем загородном ресторане. Медовый месяц провели в Болгарии на Золотых Песках: путевки в конверте преподнес дядя Базиль. Ляля водила Валеру на нудистский пляж, и он имел возможность удостовериться, что у его юной супруги отличная фигура, особенно на фоне обвислых западных теток, которые, вставив фарфоровые зубы, полагают, очевидно, будто у них помолодело и все остальное. Жили молодые в великолепном двухкомнатном люксе с видом на море и акробатически-широкой кроватью. «Ну, милый, здравствуй!»

Воротившись в Москву, Чистяков узнал о скоропостижной смерти Семеренко: в вестибюле института висел выполненный на ватмане черной тушью некролог. Алексея Андриановича, оказывается, пригласили в Белоруссию на слет старых партизан, он поехал, повидался с боевыми друзьями, побродил по местам, где пришлось воевать, поспорил с некоторыми горлопанами, недооценивающими значение особых отделов во время войны, выпил за Победу... Прибыл назад бодрый, на одном дыхании провел партком, посвященный итогам сессии, и умер ночью во сне, как умирают любимые богом люди.

Новым секретарем парткома, разумеется, стал Валерий Павлович Чистяков.

*   *   *

Во время второго перерыва снова пили чай с бутербродами, и Бусыгин рассказывал о том, как организовано детское питание в том районе, где БМП первосекретарил, пока его не призвали в столицу искоренять коррумпированных перерожденцев. Мушковец слушал с притворным интересом и дотошно уточнял систему бесперебойного снабжения школ горячими завтраками. В течение этого разговора Чистяков изо всех сил старался сохранить на лице гримасу почтительного внимания, а сам все ждал хоть сколько-нибудь приличной паузы, чтобы броситься к стенду «Досуг в районе», где его ждала Надя.

Однако БМП без всякого перехода вдруг заговорил о своей недавней поездке в Америку и, кривя тонкие губы, рассказал о том, как в клозете редакции «Вашингтон пост», куда их привели на экскурсию, он, Бусыгин, лично попользовался туалетной бумагой с изображением улыбающегося вице-президента и даже оторвал на память несколько метров, чтобы в Москве показывать недоверчивым друзьям; он пообещал на следующее бюро захватить кусочек и продемонстрировать всем.

Воспользовавшись тем, что члены президиума, забыв про чай, стали шумно обсуждать этот своеобразный факт заокеанской демократии, решительно не находя ему достойного применения в советской действительности, Чистяков бочком двинулся к служебному входу и, уже притворяя за собой дверь, перехватил удивленный взгляд БМП, как бы говоривший: «А тебе, значит, неинтересно? Ну-ну...»

Надя стояла на том же месте.

— А как тебе конференция? — зачем-то спросил Валерий Павлович, подходя к ней.

— Ты же знаешь, как я отношусь ко всему этому...

— Знаю... Зачем же тогда пришла?

— Я пришла к тебе.
— А иначе бы не пришла?
— Пришла бы... На школу прислали разнарядку: два учителя старших классов и один начальных.
— Какую разнарядку? — оторопел Чистяков, лично проводивший организационное совещание, где три раза повторил: «Никакой обязаловки! Это требование товарища Бусыгина!» — Какую такую разнарядку?!
— Обыкновенную,— усмехнулась Надя.— По-другому не умеете.
— Научимся!
— Не научитесь! — с былой, насмешливой непримиримостью отозвалась она, потом словно спохватилась и уже другим, жалобным голосом спросила: — Валера, ты нам поможешь? Ты должен...
— Должен! — перебил он.— Я всегда всем что-то должен!
— Ты сам выбрал себе такую жизнь,— тихо сказала Надя.
— А ты какую выбрала?
— А я вот такую... Валера...
— Подожди! — снова оборвал ее Чистяков.— У меня иногда такое ощущение, что я кручусь в огромном хороводе. Если хочешь что-нибудь сделать, нужно сначала высвободить руки, но тогда ты сразу выпадаешь из круга и твое место тут же занимает другой...
— Я тебя об этом когда-то предупреждала.
— А почему ты только предупреждала? — так громко, что на них оглянулись, спросил Валерий Павлович.— Ты могла же делать со мной все...
— Нет, не все...
— А я говорю: все! Ты просто не хотела!
— Валера, в той жизни, какую ты выбрал, тебе нужна была другая женщина,— спокойно ответила Надя.
— Откуда ты могла знать, какая мне была нужна жен-

щина?! — почти крикнул Чистяков. Он настырно возвращался к одной и той же теме, чувствовал, что Наде это неприятно, но она терпит и будет терпеть, так как в его руках жизнь ее ребенка...

— Валера, ты нам поможешь?..— опустив глаза, повторила она.

— Не знаю,— ответил он и ощутил ужаснувшее его удовольствие от того, что может по отношению к Наде быть таким же несправедливым, как и она по отношению к нему самому.— Нет, не помогу. В Нефроцентре новый директор, работает комиссия, госпитализируют по центральному списку. Будь это даже мой ребенок, я ничего не смог бы сделать...

— Валера, это твой ребенок,— сказала Надя.

Тут раздались мелодичные удары гонга, и следом — приятный мужской голос, похожий на тот, что в метро предупреждает о закрывающихся дверях. Это было одно из нововведений директора ДК «Знамя», он решительно в связи с перестройкой поменял старый, дребезжащий звонок на мелодичное «бом-бом-бом» и проникновенные призывы диктора: «Уважаемые товарищи, перерыв окончен. Просим не опаздывать в зал! Уважаемые товарищи...»

Надя молча достала из сумочки цветной снимок с надписью в узорной рамочке: «1-е сентября 1986 г.». На фотографии был изображен маленький Валера Чистяков, но не с козлиным чубчиком по моде 60-х годов, а с полноценной современной шевелюрой, к тому же на нем был надет не тот давешний мешковатый школьный костюм цвета использованной промокашки, а нынешний, темно-синий, приталенный, с блестящими пуговицами; наконец, в руках этот мальчик-двойник держал не здоровенный нескладный портфель из коричневого псевдокрокодила, а маленький разноцветный ранец с картинкой из «Ну, погоди!»

В фойе несколько раз зажгли и погасили свет, но оче-

редь возле прозрачной буфетной витрины продолжала стоять даже после того, как толстая продавщица с каким-то общепитовским кокошником на голове вышла из-за прилавка и, костеря настырного покупателя, принялась шумно собирать со столиков пустые бутылки и грязную посуду. Мимо просеменил вертлявый комсомольский инструктор, назначенный дежурить в холле, и удивленно поглядел на районного партийного полубога, болтающего с земной женщиной в то время, когда районный партийный бог вот-вот начнет отвечать на вопросы актива...

— После конференции никуда не уходи! — приказал Чистяков и нехотя отдал Наде фотографию.— Никуда не уходи, поняла?!

Когда Валерий Павлович вышел из-за кулис и, виновато улыбаясь, сел на свое место, Бусыгин уже взошел на трибуну и, как пасьянс, разложил перед собой многочисленные записки. Мушковец посмотрел на Чистякова с безмолвным упреком.

— Не волнуйтесь, товарищи! — задорно сказал БМП.— Пока не отвечу на все ваши вопросы, не уйду!

— А если до ночи будем спрашивать? — кто-то весело крикнул из зала.

— Нам, функционерам, по ночам работать — дело привычное! — ответил Бусыгин.

Слово «функционер» очень понравилось активу, и зал одобрительно зашумел.

— Я тут рассортировал ваши записки,— продолжал БМП.— Встречаются две крайности. Одних интересуют глобальные вопросы, например, возможна ли перестройка при однопартийной системе? Других беспокоят чисто бытовые проблемы, например будет ли в магазинах мясо? Так с чего начнем — с многопартийности или с мяса?

— С мяса! — крикнули из зала.

— Проголодались, видно! — усмехнулся Бусыгин, и актив взорвался хохотом и аплодисментами. Инструктор

Голованов встал, подошел к полированному ящичку и высыпал целую пригоршню новых записок. Аллочка, скучавшая возле столика стенографисток, встрепенулась и с плавностью в движениях, сводящей с ума мужиков, двинулась на сцену. Телевизионщики врубили свои «юпитеры» на полную мощь, и зал сразу превратился в переговаривающуюся, смеющуюся, хлопающую темень...

— Ты где ходишь, барбос? — сердито прошептал Мушковец, как только Чистяков сел рядом.

— Это мой ребенок! — ответил Валерий Павлович.

— Какой ребенок?

— С больными почками...

— Я так и знал! А больше тебе эта аферистка ничего не напела? Внуков с простатитом у тебя случайно нет?

— Это мой ребенок,— твердо повторил Чистяков.

— Точно? — погрустнел дядя Базиль.

— Точно.

— Ну, ты и кошкодав! Лялька ничего не знает?

— Нет. Это было до свадьбы...— ответил Валерий Павлович и добавил: — Я завтра пойду к Бусыгину.

— Обязательно! — зло подхватил Мушковец.— Иди и скажи: у меня вчера неожиданно появился ребенок с больными почками и другой фамилией. Нужно положить в Нефроцентр...

— Не юродствуй!

— Это ты не юродствуй! Он же только ждет повода. Кому ты будешь нужен, когда тебе голову оторвут, Валера?!

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Не знаю... Я пробовал месяц назад засунуть туда знакомого мужика. Так новый директор — членом его по корреспонденту — сразу БМП накапал. Завернули. А мне по шее...

В зале снова раздались аплодисменты. Бусыгин отложил отработанную записку и взял другую.

— Жилье. Вопрос, товарищи, сложный, больной вопрос. Все, что можно, делаем: каленым железом выжигаем кумовство и взяточничество, ставим на место тех, кто привык хапать в обход очередников. Тут в записке спрашивают, какая у меня самого квартира,— Бусыгин пристально поглядел в зал и усмехнулся,— секрета никакого нет. В Подмосковье, где я раньше работал, была трехкомнатная. Теперь двухкомнатная...

— Правильно, двухкомнатная на двоих,— прошептал осведомленный дядя Базиль,— кухня четырнадцать с половиной метров и холл двадцать два. Мне бы такую двухкомнатную!

— Я с вашего позволения, товарищи, продолжу свою мысль,— холодно сказал БМП и долгим взглядом посмотрел в темный зал.— На особом контроле у нас воины-интернационалисты, им будем помогать при первой возможности! Подробнее о перспективах жилищного строительства в районе, если пожелаете, расскажет зампред исполкома товарищ Мушковец. Вон тот, что так оживленно беседует со своим соседом. Мы его специально позвали. Не волнуйтесь, Василий Иванович, мы дадим вам слово! Позже.

Дядя Базиль мгновенно замолк и только как-то странно щелкнул зубами, точно хотел поймать пролетающую мимо муху.

* * *

Вернувшись с Золотых Песков, молодые поселились в квартире Кутеповых, в Лялиной комнате. На стенах висели многочисленные фотографии, в совокупности дававшие некоторое представление о том, как из глазастого младенца с погремушкой в пухлой ручонке постепенно получилась та самая юная женщина, которая теперь носит твою фамилию и просыпается по утрам рядом с

тобой. Кстати, в первое же утро Чистяков встретился с тестем возле ванной: оба в сатиновых трусах, взлохмаченные, с помятыми после сна лицами. Вечером того же дня тонкая Ляля подарила отцу и мужу по роскошному адидасовскому спортивному костюму, купленному в «Березке»: Валере — красный, а Николаю Поликарповичу — синий. Так они с тех пор и завтракали, точно флаг Российской Федерации. Костюм, между прочим, хорошо послужил Валере, особенно когда он начал заниматься большим теннисом, чтобы подтянуть полезший было наружу животик и завести полезные знакомства, потом, постепенно износившись, превратился в спецовку для хозработ на тестевой даче, там он и остался, после того как насмерть перепуганный новыми временами и бесчисленными отставками, Николай Поликарпович сдуру сдал дачу в пользу инвалидов с детства, но это уже не помогло...

И еще одна неловкость, запомнившаяся с тех приймацких времен: Ляля имела обыкновение любить в полный голос, и хотя их комната располагалась на отшибе бескрайней квартиры, временами Валера просто холодел от мысли, что Николай Поликарпович и Людмила Антоновна, готовясь к незатейливому пожилому сну, слышат доченькины вопли и недоуменно переглядываются. Чистяков умолял молодую жену быть посдержаннее, она обещала, крепилась, но внезапно забывалась, и тогда у нее вырывался такой пронзительный крик, что казалось: вот сейчас его подхватят и разнесут по городу заоконные собаки. Постепенно Лялька сублимировала вопли в зубовный скрежет, да так и осталось. Сегодня в их большой бездетной квартире, где при желании можно обораться, она в минуты довольно-таки редких объятий только громко скрипит зубами, отчего у Чистякова пробегает по спине озноб...

Через год институт дал своему партийному секретарю приличную двухкомнатную квартиру в Орехово-Борисове. Не въезжая даже, Валера с помощью дяди Базиля поменял

ее на другую — со спецпланировкой, возле метро «Новокузнецкая». Ступив на свежеотлакированный паркет и оглядев чудовищные фиолетовые обои холла, Чистяков начал излагать свою долговременную, рассчитанную на много лет вперед программу благоустройства семейного гнезда, сообщив с гордостью, что мать обещала одолжить деньжат. «Не бери в голову!» — ответила Ляля.

Вскоре Людмила Антоновна привезла цветной каталог импортной мебели (такие бывают!) и долго спорила с Лялькой. Валера только слышал непонятные названия «Мираж», «Элла», «Раттенов», «Жича», «Сабина»... Потом теща ползала по полу и мерила портняжьим метром длину стен, расстояние от батарей и дверных косяков до углов. Потом снова спорили.

Валера уехал на курсы повышения квалификации секретарей парткомов педагогических вузов страны в Ригу, а когда через две недели вернулся, то обнаружил свою квартиру обставленной, даже шторы были подобраны в тон нежной заморской обивке. В маленькой комнате встал чудный финский спальный гарнитур с широченной кроватью — «сексодромом», по Лялькиному выражению. Большая комната была оборудована под библиотеку-кабинет, и в центре на ворсистом ковре стоял сработанный под ампир письменный стол, причем в одной тумбе был ящик для бумаг, а во второй — музыкальный бар. Застекленные шкафы на гнутых ножках точно присели под тяжестью книг: подарок тестя. Николай Поликарпович в течение многих лет покупал издательскую продукцию по специнформсписку, но читать ему, собственно, было и некогда, а для душевного отдыха у него, как мы уже знаем, имелся баян.

В большом холле теща и Лялька поставили мягкую мебель, золотисто-велюровую, с изысканно-бесформенными очертаниями. На журнальном столике помещалась необыкновенная лампа: матерчатый абажур на гигантской

бутылке из-под кьянти. Кухня была похожа на операционную.

Непонятно, почему Чистякову так крепко запало в память то давнее возвращение в свою преображенную квартиру? Он потрясенно ходил следом за серьезной, словно экскурсовод в Музее революции, Людмилой Антоновной и даже забыл поставить на пол чемоданчик.

Однажды Валерина мать решила купить новый шифоньер — трехстворчатый, полированный, взамен желтого, обшарпанного, с ободранной местами фанеровкой. Сначала ей пришлось долго уговаривать отца, потом, сломив его сопротивление, она начала копить деньги, далее около месяца ходила по утрам под магазин отмечаться в каких-то списках, наконец, неделю караулила момент, когда привезут контейнеры с мебелью... Но так и не уследила, шифоньеры ушли к участникам другой, альтернативной очереди, деньги постепенно разошлись; у них так и остался тот желтый гардероб, который Валера помнил всю жизнь.

Первым, кого Чистяков пригласил в гости, был доцент Желябьев.

В парткоме педагогического института Валерий Павлович профункционировал четыре года. Если нормальный человек двенадцать месяцев прожитой жизни называет прошлым годом, то Чистяков называл их отчетным периодом.

Когда большевики вышли из подполья и обрели политическую власть, они вдруг с удивлением увидели, что строить социализм людям мешает масса глупых и мелких проблем, связанных с добыванием хлеба насущного, устройством жилья, плотской любовью, деторождением, наконец, смертью... Даже ошарашенный совершенно палеозойским сталинским террором, народ все равно больше интересовался своими бытовыми заморочками, нежели воплощением великой идеи. Тогда-то и был найден компромисс: любой партийный работник, в том числе и

Чистяков, похож на двуликого Януса, одно лицо обращено в светлое будущее — соцсоревнования, торжественные заседания, митинги, лозунги, демонстрации, призывы, другое — повернуто к конкретному человеку: бесконечные конфликты, в которых принимают участие деканаты, кафедры, преподаватели и даже студенты, квартирные свары, семейные скандалы, аморалка, а в последнее время с ростом льгот фронтовикам прибавились еще разборы с ветеранами — воевал ли, где и сколько...

Особенно дорого Валерию Павловичу досталась история старшего преподавателя Белогривова, носившего на груди целую коллекцию орденов и медалей. Его хотел вывести на чистую воду еще покойный Семеренко и даже откомандировал за институтский счет надежного человека по местам боевой славы липового ветерана. Выяснилось, что Белогривов никакой не командир взвода бронебойщиков, а тыловик, начпродсклада, к тому же чуть не отданный под трибунал за воровство. Выручила Белогривова его тогдашняя подружка, служившая в полевой парикмахерской и упросившая одного генерала, любившего у нее побриться и освежиться, спасти непутевого интенданта. Получив такой роскошный компромат, Семеренко собрался провести партком и стереть в порошок проходимца, но тут раздался звонок с такого заоблачного уровня, что Семеренко помертвел лицом и гаркнул: «Так точно!» Паршивец остался целехонек, только перестал открывать торжественный ежегодный митинг возле мраморной доски с именами преподавателей и студентов, павших на фронте. Рассказывали, у себя на складе Белогривов устраивал веселые вечеринки с девочками, на огонек к нему заглядывали и те, о ком нынче без верноподданнической дрожи в голосе и говорить-то не принято!

Дело Белогривова снова всплыло наружу уже при Чистякове, поводом послужило составление списков для награждения очередной красивой юбилейной медалью, а

подлинной причиной — тот факт, что бывший интендант отхватил единственную выделенную на институт «Волгу». Деньги у него водились: он составлял бесконечные сборники воспоминаний фронтовиков. Чистяков, дай ему волю, своими собственными руками удавил бы этого прохвоста с лоснящейся сутенерской рожей и серебрящейся академической бородкой, тем более что институтская масса яростно вопила: «Распни!» Но с заоблачных высот тем временем доносился усталый, но властный голос: «Не трожь!» Валера попал в ту очень характерную для аппаратчика ситуацию, когда он горел в любом случае. Спас тесть. Он нашел Белогривову место в солидной конторе, занимавшейся укреплением дружбы с народами зарубежных стран: хороший оклад, лечебные и три гарантированных выезда за рубеж в год.

Доверчивая институтская общественность восприняла удаление проходимца как торжество справедливости и блестящую победу молодого принципиального секретаря парткома. Но сам-то Чистяков из всей этой истории сделал для себя важный вывод: главное — избегать конфликтных ситуаций, потому что разрешить их по-божески в конкретных общественно-исторических условиях чаще всего невозможно...

И вот еще одна забавная подробность: Валера долго не мог научиться полноценно сидеть в президиумах, у него от природы было живое лицо, реагировавшее на каждое слово или улыбкой, или гримасой, или зевотой... Однажды старенький, на ходу рассыпающийся профессор, боявшийся пенсии больше, чем смерти, влетел в предынфарктное состояние из-за того, что Чистяков якобы недовольно нахмурился в то время, когда он выступал на факультетском партсобрании. Бедное поколение, выросшее и жившее в эпоху, когда человеческая жизнь висела на кончике хозяйского уса!

Постепенно Валерий Павлович научился цепенеть в

президиуме и впадать в анабиоз, надежно закрепив на лице выражение доброжелательного внимания. Кстати, первый, кто посоветовал ему выработать этот жизненно важный навык, был опять-таки любимый тесть Николай Поликарпович, сочинявший все свои брошюры («Наука — производительная сила общества», «Наука и социализм» и т. д.) исключительно в президиумах, а дома быстренько надиктовывавший текст Людмиле Антоновне, в молодости работавшей секретарем-машинисткой в исполкоме.

За это время Чистяков понял еще одну важную вещь: защитная окраска существует не только у насекомых или, скажем, зверушек, у людей она тоже имеется: это очевидная преданность существующему жизнеустройству. Отираясь в коридорах райкома или горкома, общаясь с тестевыми дружками на рыбалке или в домашнем застолье, Валерий Павлович постепенно усвоил и освоил эту непередаваемую собранную раскованность (или раскованную собранность) номенклатурных мужиков. Ведь можно смолчать, а все равно поймут: не наш человек! Можно рассказать кошмарный политический анекдот или покрыть матерком чуть ли не ЧПБ, а потом, когда все отхохочутся, добавить одну только фразу или как-то особенно дрогнуть лицом, и сразу станет ясно: а все-таки дороже партии у тебя ничего нет!

«Научись иногда расслабляться! — учил Валеру дядя Базиль.— Если б Поликарпович не блямкал на своем баяне, то давно бы схлопотал инфаркт. А я вот кузнечиков рисую...» Но Чистяков тоже уже нашел свое: он медитировал в президиумах. Именно так он пережил ужасную Лялькину беременность, два месяца она пролежала на сохранении, чуть не загнулась от интоксикации, а в результате все равно выкидыш, да еще с осложнениями по женской части. «Экспериментируй на других крысах! — сказала она, вернувшись из больницы, тощая и пожелтев-

шая.— Если потом очень захочется, возьмем из детского дома, а пока я еще жить хочу!»

И Лялька начала жить. Николай Поликарпович издал какой-то здоровенный цитатник, получил кучу денег и подарил ребятам «жигуль». Валере было некогда заниматься на водительских курсах, права получила Лялька. У нее появились новые подруги: одна — дочка крупного общепитовского начальника, другая — молоденькая жена какого-то эмвэдэшного хмыря с лицом постаревшего наемного убийцы и третья — отставная, запойная менекенщица, похожая на грациозную мумию. Манекенщица была у них за бандершу. Таким вот миленьким квартетом они мотались по кабакам, нагоняя страх на директоров ресторанов и вызывая зоологическую ненависть у официантов, которых заставляли крутиться почти так же, как крутятся их коллеги в мире чистогана. Самой изысканной забавой у подруг считалось погримасничать и построить глазки какому-нибудь пьяному мужику за соседним столиком, а когда тот, вдохновясь и надувшись, как на конкурсе мужской красоты, подойдет представиться и осуществить знакомство, отбрить его с аристократической брезгливостью, мол, от вас, любезный, пахнет курицей! Постепенно за подружками укрепилась слава компании развлекающихся лесбияночек.

Лялька перевелась на заочное отделение, и отец устроил ее работать в Художественный фонд, а там то вернисаж, то юбилей, то встреча зарубежной делегации, то прием. По пьяному делу Лялька два раза била машину, но эмвэдэшница все устраивала. Это были беспроблемные времена, когда можно было позвонить, пошутить — и бесследно исчезали протоколы дорожно-транспортных происшествий, свидетели брали свои слова назад, а «жигуль», отремонтированный в каком-то спецавтохозяйстве, через день стоял в гараже новенький, сияющий, без единой царапины.

Потом Лялька связалась не то с кришнаитами, не то с саньясинами — Чистяков, занятый предсъездовской идеологической вахтой, особенно не вникал,— но их любимого гуру замели, или за растление малолетних, или за политику, и секта распалась. Наконец, Лялька попала в компанию скульпторов-монументалистов, тесавших памятники богатеньким покойникам и заколачивавшим бешеные деньги, даже по мнению манекенщицы, немало повидавшей. Вот тут-то терпение Валеры лопнуло, потому что ваятели покуривали травку, и Лялька возвращалась домой с дурацкой ухмылкой и стеклянными глазами, а поутру лежала трупом и стонала: «Воин-освободитель, спаси!»

«Воин-освободитель» собрал чемодан и уехал жить, нет, не к родителям, уже получившим к тому времени стараниями дяди Базиля приличную квартиру в Нагатино, а к доценту Желябьеву, которого успел сделать своим замом по идеологии. Он в тот период методично осваивал девчушек из отдела мягкой игрушки «Детского мира».

Объясняться приехал тесть. Николай Поликарпович имел известное представление о своеобразном характере и образе жизни своей дочери, но то, что порассказал ему зять, потрясло Кутепова до глубины души. «Я приму решительные меры! — пообещал он.— А ты, Валера, сегодня же возвращайся домой! Я от Людмилы Антоновны никогда не съезжал, хотя, знаешь, тоже разное бывало...» Валера вечером вернулся домой, но жены там не обнаружил, а позвонив Николаю Поликарповичу, узнал, что тесть забрал ее на перевоспитание. Вернулась Лялька через две недели совершенно покорная и удивила его тем, что приготовила утром завтрак: яичницу с помидорами. Работала она теперь не в Художественном фонде, а во Всероссийском обществе слепых — референтом. «Ну, милый, здравствуй!»

А вскоре на тестевой даче, сидя за столом под большой яблоней и попивая домашнее винцо, которое прекрасно

изготовляла Людмила Антоновна, Кутепов задумчиво поинтересовался, не засиделся ли Валера в своем педагогическом институте, не пора ли ему, как бы это выразиться, подрасти, что ли. «Да вроде не засиделся!» — ответил Чистяков, успешно проведший очередную отчетную конференцию и теперь плавно въезжавший в роман с новой, интересной преподавательницей кафедры английского языка. «Правильно,— кивнул Кутепов,— каждый должен добросовестно работать на своем месте. И так у нас прыгунов развелось...»

Через месяц Валерия Павловича утвердили заведующим отделом агитации и пропаганды Краснопролетарского райкома партии. Оказалось, к нему уже давно присматривался первый секретарь Ковалевский; поначалу его смущала молодость Чистякова, но неожиданно эти сомнения рассеялись. Кстати, в отделе, которой возглавил Валерий Павлович, культурой по иронии судьбы заведовал — кто бы вы думали? — Убивец. Вот такая, понимаете, встреча в горах...

После первой же планерки Чистяков попросил Иванушкина задержаться. Грустно глядя исподлобья, Валерий Павлович произнес дружеское «сколько зим, сколько лет» и предложил покурить. Они вспомнили институт, свои «сокамерные» времена, замечательное сало, которое привозил Убивец от родителей, ту знаменитую поездку «на картошку», где Иванушкина и прозвали Убивцем... О злополучной гэдээровской истории не было сказано ни слова. «Ну что, Юрий Семенович, будем работать!» — докурив, радостно сказал Чистяков и хлопнул своего врага по плечу. «Еще как будем!» — преданно ответил человек, однажды чуть не сломавший Валере хребет.

Как к тому времени понял Чистяков, уничтожение врагов и выдвижение друзей в аппаратной игре называется решением кадровых вопросов. Ты можешь аннулировать человека, стереть его в пудру, развеять по ветру, но если в

глазах соратников это будет выглядеть по правилам, работать на интересы дела, все скажут, что ты укрепил кадры; в противном случае сочтут, что ты просто сожрал отличного мужика. Но Убивца Валерий Павлович не тронул по иной причине: он простил его. Так по крайней мере Чистякову казалось.

С Ковалевским Валерий Павлович сработался. Для начала навел порядок в отделе, и теперь уже не случалось, как при бывшем заведующем, отлично ушедшем директором издательства, чтобы цифра занимающихся в системе политпросвещения коммунистов, заявленная в докладе, оказалась больше численности всей районной партийной организации. Кстати, о докладах. Их для Ковалевского сочинял в основном чистяковский отдел. Валерий Павлович довольно быстро схватил незамысловатую манеру своего первого секретаря и научился, посидев вечер-другой, придавать кускам, написанным инструкторами, необходимое стилистическое единообразие. Особенно удавались ему характерные для Ковалевского грубоватые колкости в адрес руководителей, не выполняющих плановых заданий. Выходя на трибуну с текстом, сочиненным Чистяковым, Владимир Сергеевич Ковалевский чувствовал себя легко и надежно, словно сам его и написал...

Еще руководя парторганизацией пединститута, Чистяков понял важную вещь: окружающие люди, как ни крутись, видят в нем пока всего лишь зятька могучего деятеля городского уровня, особо приближенного с столичному лидеру, и, естественно, ждут от Валеры или откровенного хамства, или той утонченной спеси, каковую являют наиболее умные и дальновидные родственники сильных мира сего. Однако ни того, ни другого в этом молодом, энергичном мужчине с хорошей белозубой улыбкой и ранней сединой они при всем желании усмотреть не могли. Чистяков держал себя так, словно его единственной опорой и поддержкой в этом яростном мире был только папа-заводча-

нин, выпивающий каждый вечер свою законную четвертинку. Однажды, в розовощеком детстве, был вот какой случай. В пионерском лагере Валера задружился со здоровенным шпанистым пацаном по имени Ренат, две недели союзники держали в страхе весь отряд и жили, как хотели, а потом Ренат обожрался зеленых яблок, заболел дизентерией и был увезен на лечение в Москву. Дни, оставшиеся до окончания смены, Чистяков прожил кошмарно: его били почти каждый день...

Между прочим, Николай Поликарпович был чрезвычайно доволен выбором своей дочери: страшно подумать, какого шалопая Лялька при своей доверчивости могла привести в дом! А Валера... Его не нужно было тащить за уши, доказывая, например, что нерасторопность — это не тупость, а привычка к обдуманности и обстоятельности, не нужно было вытаскивать из нехороших историй, объясняя, будто все они подстроены с исключительной целью — навредить ему, Кутепову... А нужно было просто делать так, чтобы наверху, там, достоинства Чистякова были всегда на виду, а промахи по возможности неведомы...

Отдел Валерию Павловичу достался сложный: попробуй пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда не будет! Чем занимались, боже мой, чем занимались?! Всего за одну ночь установили самый большой в столице портрет Брежнева. Размах бровей — два метра! Установили сразу же после присуждения Ленинской премии. В других районах еще неделю чесались, а у них в Краснопролетарском: вечером сообщила программа «Время», а утром уже вывесили портрет с новенькой лауреатской медалью на неестественно широкой груди, специально нарисованной так, дабы уместились все награды. А когда по «вертушке» позвонил помощник Генерального и передал добрые слова от Самого, у Ковалевского, который явно недолюбливал бровеносца со всей его шайкой,

даже сердце на радостях прихватило — неотложку вызывали...

А вот с Убивцем пришлось расстаться. Случилось это неожиданно. Семейный человек, Иванушкин по случаю обрюхатил Аллочку Ашукину: поехал, пакостник, с молодежью на выездную учебу и, как говорится, отметился, а девчонка втрескалась со всего юного разбега и захотела, декабристка, рожать. Любовь! Убивец ее, правда, уболтал, положил в больницу, а когда чистили, как водится, занесли инфекцию — девчонка под капельницей лежала. Конспиратор Убивец, конечно, ее не проведал — и она, бедненькая, понимала: нельзя! Но не послать даже букетика или пары бутербродов с севрюгой из райкомовской столовой!.. Помнится, тогда к Валерию Павловичу пришел посоветоваться первый секретарь райкома комсомола Шумилин, надежный парень, который погорел потом на дурацкой истории с хулиганами, залезшими в зал бюро и устроившими погром... Он принес гневное коллективное письмо работников комсомольского аппарата и актива.

Чистяков вызвал к себе Убивца, положил перед ним «телегу» и грустно сказал: «Извини, старик, самое большое, что могу для тебя сделать, это дать лучшие референции. Ищи, Юра, себе место!» «Это ты зря...— отозвался Иванушкин.— Я бы на твоем месте не упускал случая — добил бы!» «Вот поэтому ты на своем месте, а я на своем!» — миролюбиво ответил Валера.

Убивец перешел в Дом политпросвещения и даже выиграл четвертак в зарплате, но это было тупиковое, гиблое место, откуда обычно выносили под звуки казенного оркестра, а впереди, на подушечке — единственная медаль «За трудовую доблесть», полученная на заре жизни, когда над головой было небо. Кто же мог подумать, что Иванушкин отсидится там, оботрется, подшустрит и организует первый в стране кабинет компьютерной грамотности совпартработников?! И уж никто не мог предположить, что на

открытие этого чуда советского двадцатого века придет новое городское руководство, озабоченное кадровыми проблемами, заметит Убивца и возьмет его в аппарат горкома сразу зам. зав. отделом, аккурат под любимого Валериного тестя Николая Поликарповича... Но это случилось потом, а пока все шло весело и слаженно, как пионерское приветствие районной партийной конференции.

За окнами райкома текла обыкновенная жизнь, которой Валерий Павлович якобы управлял. Но он-то понимал: если из тех людей, что толпятся на остановках, выходят из магазинов, стоят возле газетных стендов, сидят на скамейках, хотя бы каждый десятый похож на Надю Печерникову, то все эти потуги на руководящую роль — просто чепуха на постном масле! Кстати, о Наде Чистяков вспоминал довольно часто. Не скроем, она (воспоминания о ней) очень помогала Валере в те трудные полусонные минуты, когда приходилось-таки проявлять к опостылевшей Ляльке определенный супружеский интерес, а интереса-то не было — была только какая-то холодная изжога в душе...

Однажды Валерия Павловича срочно вызвал Ковалевский и, матерясь, достал из сейфа номер молодежного журнала. Чистяков подумал о том, что, вероятно, шеф начинает потихоньку сдавать, если прячет в спецсейф журналец, каковым завалены все киоски «Союзпечати». Перенапрягшееся поколение!.. «Библиографическая редкость!» — объяснил Ковалевский. «Раритет!» — подхватил Чистяков руководящую шутку. «Я тебе серьезно говорю! Весь тираж «под нож» пустили. Осталось несколько штук — вещдок...» «А в чем дело?» — посерьезнел Валерий Павлович. «А ты почитай! Страница пятьдесят четвертая. Завтра на бюро будем исключать». «Автора?» «Автор беспартийный, его по писательской линии накажут. Исключать будем заместителя редактора... Выступишь — и разнесешь по науке...»

Рассказ назывался «Провокатор». На фотографии чернело изуродованное родной полиграфией лицо автора — некоего Олега Соломина, а чуть ниже стояло посвящение, естественно, дамочке, из него Чистяков сделал заключение, что этот щелкопер печатается недавно и еще не успел через прессу отблагодарить всех своих приятельниц. «Другу Наденьке»,— усмехнулся Валерий Павлович и внимательно, с карандашом в руке принялся читать художественное произведение, из-за которого пустили «под нож» целый тираж и гонят из партии приличного, заслуженного мужика. Чистяков сразу же подчеркнул двусмысленную фразу, пометил сбоку свое непримиримое отношение к ней и постарался запомнить ее — настолько была хороша и остра. А переворачивая страницу, Валерий Павлович вдруг понял, что Олег Соломин — это тот самый заслуженный богомол... Ну да — муж Нади... А «друг Наденька» — это сама Надя... Надя Печерникова... И он начал читать сначала, и читал уже не с политической бдительностью и не с тайным удовольствием — а с болезненной ревностью.

Рассказ был вот о чем. Россия. Начало века. Губернский город Н. Юному студенту, члену подпольной организации Валериану Винчевскому поручено убить местного генерал-губернатора, совершившего чудовищное преступление — он приказал выпороть арестованного революционера! В тайной лаборатории, законспирированной под зубоврачебный кабинет, где священнодействует Химик, гениальный ученый, выгнанный из университета за то, что плюнул в лицо жандармскому полковнику, изготавливается бомба. На сей раз Химик обещал создать совершенно необыкновенный метательный снаряд, способный разнести царского сатрапа по молекулам.

Валериан Винчевский (он, между прочим, прямой потомок польских патриотов, сосланных за участие в восстании Костюшко) начал выслеживать подлеца-губерна-

тора, дабы поточнее определить место, наиболее удобное для возмездия. Выяснилось: каждое воскресенье под присмотром до зубов вооруженного терского казака злодей-генерал подъезжает к воротам городского сада, отпускает охрану покататься на карусели, а сам неторопливо прогуливается по аллеям и поглаживает по головкам попадающих навстречу детишек.

Карать постановили в городском саду. Но среди подпольщиков разгорелся жаркий спор: наиболее яростный, несгибаемый боевик Булатов требовал любой ценой взорвать негодяя, пусть даже погибнут невинные младенцы, принадлежащие, между нами говоря, к классу эксплуататоров и кровопивцев. Валериан же еще не ожесточился сердцем и хотел привести приговор в исполнение так, чтобы никто другой не пострадал. Под видом коробейника он продолжал наблюдения и даже случайно попал в руки жандармов, но его спасло умение показывать карточные фокусы: от души потешившись, цепные псы царизма отпустили его на все четыре стороны.

Однажды Валериан, теперь уже загримированный под калику перехожего, заметил любопытную закономерность: во время каждой своей воскресной прогулки генерал-губернатор неизменно подходит к гордости городского сада — вековому дубу, выжидает момент, когда кругом никого нет, и торопливо засовывает руку в дупло. Таким романтическим образом старый повеса обменивался нежными посланиями со своей замужней любовницей — известной провинциальной актрисой. И Винчевский решил убить сановного насильника возле заветного дуба.

Никто не понимал, как это произошло... Или гениальный Химик запутался в ингредиентах, или сам юный террорист от волнения замешкался, но бомба взорвалась у него прямо в руках. Когда, соскочив с карусели и выхватив шашку, терский казак примчался на место преступления, то увидел опаленные бакенбарды смертельно испуганного,

но живого и невредимого генерал-губернатора. А вот от покушавшегося не осталось ничего: ни клочка, ни кусочка, ни горстки праха...

Валериан Винчевский очнулся возле того же самого дуба. Ему казалось, что все его тело подобно сосуду, некогда разбитому вдребезги, а теперь вот склеенному из мелких осколков. Знакомое дерево выглядело обветшавшим и стояло теперь не в городском саду, а посередине мощеной площади, неподалеку от белокаменного здания с развевающимся красным флагом на крыше. Дуб был огорожен узорчатой решеткой и оснащен табличкой:

На этом месте 16 октября 1902 года
студент-революционер В. В. Винчевский
(1883—1902)
совершил героическое покушение
на одного из царских палачей.
Слава нашим героям!

Ничего не понимая, юный террорист огляделся окрест и увидел, что окаем закрыт дымящимися трубами и высокими, похожими на пчелиные соты, домами, что в небе тяжело плывет серебряный летательный аппарат и что на фронтоне белокаменного здания трепещет лозунг: «Пятилетке качества — рабочую гарантию!» И тогда Винчевского осенило: да-да, в результате непостижимого взрыва бомбы он в мгновение ока перенесся в светлое будущее, где победивший народ установил, как некогда и во Франции, новую форму исчисления времени, в данном случае — пятилетками...

Чтобы утвердиться в своей догадке, Валериан стремглав бросился к белокаменному дому, впоследствии оказавшемуся облисполкомом. Возможно потому, что он начал жадно расспрашивать выходящих оттуда серьезных товарищей, каково нынешнее политическое устройство России, а может быть, одет он был точно студент с извест-

ной картины Ярошенко: глухой плащ и надвинутая на глаза шляпа... Одним словом, Валериана забрали в милицию. Юный революционер попытался обрести свободу при помощи своих чудесных карточных фокусов, но его похлопали по плечу, посоветовали не зарывать талант в землю и отправили в камеру. Никаких документов при себе у Винчевского, естественно, не было, а рассказать всю правду он не отважился, ибо понимал: его правда фантастичнее всякого вымысла.

В камере наш узник познакомился с местным краеведом Кулеминым, севшим на пятнадцать суток за то, что в сердцах обозвал вандалом главного областного руководителя, предлагавшего спилить исторический дуб и воздвигнуть взамен гранитный обелиск «Вы жертвою пали!» Оказалось, Кулемин давно уже занимается историей неудачного покушения Винчевского и не один год бьется над загадкой, куда все-таки подевалось тело отважного террориста. Из глубин истории доходили слухи один нелепее другого. Известный дореволюционный фольклорист даже записал в торговых рядах сказ о том, как злой «енерал-убиватор» закатал тело отважного юноши в стеклянную бочку с «зеленым вином» и спрятал у себя в подвале. Однако даже видный подпольщик Булатов, возглавлявший после революции кожевенную промышленность губернии и написавший интересные мемуары «Рядом с легендой. Мои встречи с Валерианом Винчевским», обошел загадочное исчезновение тела стороной.

Расхаживая по камере, краевед с увлечением рассказывал о том, что поднял даже учетные книги мертвецких — никаких обнадеживающих сведений! Только через месяц после покушения на пустыре за трактиром был найден мертвый юноша с огнестрельной раной в области сердца, опознать его не смогли и похоронили в безымянной могиле. «Через месяц...» — прошептал Валериан. «Через месяц,— подтвердил Кулемин и впервые

вглядeлся в лицо своего товарища по несчастью.— А вы знаете, молодой человек, вы очень похожи на Винчевского... Случайно не родственник?» «Я его родной внук! — неожиданно для себя выпалил Валериан.— Решил побывать на месте гибели деда, а документы украли в поезде...» «Так что же вы молчите!» — вскричал Кулемин и принялся яростно колотить кулаками в железную дверь камеры.

...Валериану Винчевскому было плохо, а почему — непонятно. Он уже пришел в себя после шумной, с бесконечными застольями двухнедельной поездки по трудовым коллективам региона и оправился от простуды, которую подхватил во время ноябрьской демонстрации, стоя на трибуне, рядом с главным руководителем области, по иронии судьбы носившим ту же фамилию, что и недобитый генерал-губернатор. Он даже успел полюбить молодую красивую учительницу словесности Марию Васильевну, пригласившую Валериана на свой открытый урок. Сегодня утром, после безумной ночи любви, она наконец согласилась стать его женой!

И все-таки Валериану было плохо... Он вышел на воздух из гостиницы, где проживал, покуда достраивался обкомовский дом, где ему обещали двухкомнатную квартиру и где он собирался счастливо зажить с Марией Васильевной, вышел и направился к краеведческому музею. Позавчера Винчевский стал директором этого музея вместо несчастного Кулемина, госпитализированного с неприятным диагнозом; краевед стал кричать на всех перекрестках, будто труп того неизвестного юноши и есть пропавшее тело революционера.

Путь Валериана лежал мимо исторического дуба, точнее, мимо того места, на котором еще недавно росло знаменитое дерево, а теперь вот светлел свежий спил... Винчевский горячо поддержал идею строительства на месте сорившего желудями дуба прекрасного мемориала в честь

павших борцов! Смертельно уставший террорист присел на широкий пень, вздохнул и внезапно ощутил во всем теле страшную боль, он почувствовал себя неким хрупким сосудом, и этот скудельный сосуд некто огромный и сильный со всего маху хрястнул о мостовую, так что только брызнули осколки...

Рассказ, как сейчас помнил Чистяков, заканчивался донесением тайного агента охранки Булатова, внедренного в подпольную организацию с целью подготовить покушение на генерал-губернатора, не сработавшегося с кем-то там из петербургского начальства. Булатов нижайше доносил, что примерно через месяц после неудачного теракта на тайную квартиру, единственную оставшуюся после повальных арестов, явился собственной персоной Валериан Винчевский. Одет он был в странный шуршащий плащ, вероятно, американский, и шапку, похожую на те, что носят бедные селяне и называют «треухами», но только пошитую из ондатры. Воскресший террорист заявил немногим уцелевшим членам некогда мощной подпольной организации, что якобы благодаря взрыву бомбы попал в будущее, воротился назад и теперь знает, к чему приведет их борьба! «Так вот кто, значит, предал нашу организацию!» — вскричал Булатов, опасавшийся черт знает откуда взявшегося Винчевского. «Я был там... я все понял! — твердо ответил Валериан.— Слушайте!..» «Смерть провокатору! — оборвал его Булатов, выхватил револьвер и выстрелил юноше прямо в грудь. Ночью завернутое в холстину тело осторожно вынесли из дома и бросили на пустыре за трактиром...

Заместителя главного редактора из партии не погнали, ограничились строгим с занесением, хотя Чистяков в своем выступлении говорил и о «ложной идейно-художественной концепции рассказа «Провокатор», и о прямой клевете на историю нашего освободительного движения». Стоя перед членами бюро, седой мужик с орденскими

планками на пиджаке расплакался, как мальчик. Выяснилось, что он страдает запоями. Страдает давно, с войны, а началось все с тех самых «наркомовских ста грамм». Привозили из расчета на роту, а от роты после атаки и взвода не оставалось... Вот с тех пор он так и живет: полгода как человек, а потом вдруг на неделю точно в яму с помоями проваливается. Спасибо хоть сослуживцы всегда с пониманием относились, прикрывали — запрут в кабинете и отвечают: отъехал, вышел, вызвали наверх... Потом пришел новый ответственный секретарь, который сразу же прицелился на место заместителя, он-то и подсунул тот дурацкий рассказ для ноябрьской книжки: мол, все тип-топ, про революционеров... Кому взбредет, что про революционеров можно как-то не так... Ну, не читая подписал... А у цензора в тот день было отчетно-выборное профсоюзное собрание, он у них там в Главлите культурно-массовой работой занимается, торопился и тоже проштамповал не глядя... «Простите, товарищи, если сможете! До пенсии полгода осталось!»

Наверное, его все-таки погнали б из партии, но всех возмутило выступление редактора, гладкощекого демагога, выкручивавшего из тонкого молодежного журнала себе столько, сколько не выкручивали старорежимные латифундисты из орловского чернозема! Он сообщил, что, к сожалению, когда случилось это безобразие, находился в Австралии на конференции «Детство в ядерный век», а то, разумеется, прочитав одну только строчку, сразу бы снял рассказ... И вот теперь, уезжая в Штаты на симпозиум, он просто не решается оставить журнал на пьющего и небдительного человека. «А вы не оставляйте!» — побагровев, посоветовал Ковалевский — последний раз он был за границей два года назад, в Венгрии. «Что?» «А то самое! Разъездился... Вы редактор журнала или путешественник Пржевальский?» Путешественник только дрогнул усами... Потом, когда Ковалевского катапультировали, друг детей

припомнил ему этот разговор и в газете «Правда» в разгромной статье «Мастодонты застоя» хорошенько поплясал на косточках Владимира Сергеевича. В общем, историю с рассказом спустили на тормозах, заму — строгача, главному — на вид. А вот имя Соломина попало в какое-то закрытое письмо о бдительности и идеологическом чутье. С тех пор Олегу не то что рассказ, объявление в бюллетене обмена жилой площади было не напечатать... Чистяков представил себе, как Надя утешает своего засушенного богомола, разозлился и выбросил из головы всю эту историю.

Заведущим отделом Валерий Павлович проработал три года. Однажды, сидя под яблоней на даче и попивая домашнее вино, Николай Поликарпович задумчиво спросил: «Валера, а не пора ли тебе подрасти?» Через месяц Валерий Павлович стал секретарем райкома по идеологии, самым молодым в городе... Теперь отвозила его на работу и привозила домой черная «Волга», обедал он теперь не в большой общей зале, а в специальной обшитой деревом комнате вместе с Ковалевским, другими районными боссами и заезжими величинами. Вчерашние коллеги — заведующие отделами — резко перешли с «ты» на «вы», и даже дядя Базиль, продолжая называть Чистякова «барбосом», стал вкладывать в это слово особый, уважительный смысл. Теперь Валера не переписывал доклады за нерадивых инструкторов, а только тоненьким карандашиком помечал, где и как нужно переделать. И даже Кутепов стал иногда обращаться к Валере за помощью: один раз, чтобы устроить на работу в районе дочь одного хорошего человека, другой раз — чтобы пробить гараж известному массажисту-экстрасенсу.

Конечно, трезво мыслящий Чистяков понимал, что пока еще остается обыкновенным малозаметным муравьем в этой огромной всесоюзной куче, но одновременно он ощущал, как трепещут и разворачиваются на ветру

недавно выросшие, нежные, прозрачные крылышки. Еще немного — и полетишь! Увы, Валера размяк и не сумел по достоинству оценить опасности, связанной с роковым приходом БМП.

Да, Чистяков немного расслабился. У него завязался хороший, спокойный романец с разведенной журналисточкой, одиноко существовавшей в уютной кооперативной квартире, куда можно было приехать, предварительно позвонив, в любое время, чтобы отдохнуть телом и душой.

Семейная жизнь тоже наладилась. Все то, за чем раньше Лялька бегала к папе, теперь можно было получить от мужа. Она успокоилась, поступила в очную аспирантуру, занялась влиянием Бердслея на русскую графику начала века, и Чистяков через Академию художеств устроил жене трехмесячную стажировку в Лондоне. Единственное, что осталось у Ляльки от былых загульных времен — это увлечение разной чертовщиной: например, спиритизмом. Подружек она своих растеряла, отношения поддерживала только со вдовой эмвэдэшника (он застрелился на следующий день после падения Щелокова), вдвоем они частенько по вечерам крутили блюдечко, и однажды Лялька взволнованно сообщила Чистякову: «Знаешь, что сказал нам сегодня дух Чапаева?!» «Что?» «По коням!»

Ковалевского и Кутепова освободили от занимаемых должностей в один и тот же день, на одном и том же заседании бюро горкома партии. Случилось это через месяц после прихода БМП. Николай Поликарпович держался молодцом, выйдя из зала, он пошутил со случившимися рядом аппаратчиками про отставку без мундира, прошел в свой кабинет, заперся, достал баян и полчаса играл вальс-каприз: заканчивал и начинал снова. Потом он позвонил домой и сказал Людмиле Антоновне, с самого утра томившейся неизвестностью: «Сняли». Людмила Антоновна

только в ответ захрипела и начала, как рассказывала потом присутствовавшая при сем Лялька, медленно заваливаться на бок — сердечный приступ... В больнице Людмила Антоновна не хотела даже видеть Николая Поликарповича и отворачивалась к стене, когда он приходил ее проведать: не могла простить Кутепову, что за месяц до роковой развязки тот сдал дачу под профилакторий для инвалидов с детства. Чистяков понял, что положение нужно исправлять, и организовал своему поверженному тестю шесть соток в хорошем садово-огородном товариществе где-то под Чеховом. Сам же Валерий чувствовал себя прочно и даже однажды на совещании удостоился похвальной реплики нового городского руководства, которому понравилась чистяковская молодость...

Бусыгин обрушился на Краснопролетарский райком, как ураган «Джоанн» на курорты атлантического побережья. Знакомясь с аппаратом, он сразу заявил: «Кто не чувствует сил работать в новых условиях, пусть поднимет руку!» Никто, разумеется, не поднял, ибо последним человеком, осознавшим, что не может работать в новых условиях, был отрекшийся от престола государь-император Николай Александрович.

Из райкома стали исчезать люди. Заведующий промышленным отделом, три года назад перетянутый Ковалевским из парткома производственного объединения, а ранее бывший начальником лучшего цеха, проговорив с Бусыгиным пять минут, вышел из кабинета со слезами на глазах и тут же написал заявление... А БМП, как Гарун-аль-Рашид, благо в лицо его покамест не знали, ходил по магазинам района и невинно интересовался у продавцов, куда девались мясо и колбаса, точно и в самом деле не знал, куда они подевались! Продавцы отвечали дежурным хамством, тогда Бусыгин скромно стучался в кабинет директора магазина, снова выслушивал торгашеское хамство, но уже на руководящем уровне, а в тот самый

момент, когда, призвав на подмогу дюжего продавца мясного отдела, его начинали вытряхивать из кабинета, доставал свое новенькое удостоверение — и владыка жизни, директор продмага, распадался на аминокислоты.

Бусыгин на встрече с избирателями пообещал закрыть в райкоме спецбуфет и закрыл. Пообещал провести праздник района и провел: с тройками, скоморохами, лоточницами, сбитеньщиками... «Народ покупает, кошкодав!» — сказал об этом дядя Базиль. Было у БМП еще два пунктика: тиры, чтобы пацаны не шастали в подворотнях, а готовились к службе в армии; и бани-сауны, чтобы рабочий человек после трудового дня мог передохнуть и попариться... И если какой-нибудь директор завода, не выполнявшего план, закладывал у себя на территории тир и баню, то сразу же попадал в число любимцев нового районного вождя...

Бусыгин невзлюбил Чистякова с самого начала: Валера оплошал и опоздал на церемонию знакомства нового первого с аппаратом. В тот день Чистяков участвовал в открытии интервыставки «Роботы в быту», говорил спич и поэтому оделся соответственно — в отличную импортную велюровую «тройку» с аристократически зауженными плечами. «Тройку» прикупила ему Лялька, сначала врала, что в «Березке», а потом случайно выяснилось: костюмчик ранее принадлежал покойному эмвэдэшнику, но поносить его он так и не успел...

Чистяков вошел в конференц-зал в тот самый момент, когда БМП начал свою тронную речь, громя коррумпционеров и перерожденцев, променявших первородство социалистической идеи на чечевичную похлебку личной благоустроенности. И тут словно талантливая иллюстрация к гневным словам нового босса на пороге возник Валера, в своем унаследованном костюме, с красным супермодным галстуком, сам чем-то похожий на фирмача или советского

перерожденца. Бусыгин на мгновение замолк, надломил бровь и сказал: «Когда я работал учителем, то за пятиминутное опоздание вызывал родителей! В следующий раз позвоню вашему тестю!»

Честно говоря, Валерий Павлович подобиделся, но не придал тому случаю должного значения, надеясь верной службой наладить отношения с крутым шефом. Чистяков, как, впрочем, и весь аппарат, приходил в восемь — уходил в десять, забыл про уик-энды, ловил и исполнял каждое пожелание Бусыгина и однажды, услыхав, будто первого греют массовые народные действа первых лет революции, устроил на площади перед райкомом гигантскую манифестацию с символическим сожжением чучела бюрократа застойного периода. И только однажды, когда снимали с работы заведующего роно, Чистяков, который и привел его на это место, робко заметил, что так можно и совсем без кадров остаться... БМП в ответ ничего не сказал и только глянул с нехорошим любопытством. Непонятно, почему Бусыгин до сих пор не тронул Валерия Павловича по-настоящему? Может быть, чувствовал, что к нему неплохо относится город, или не хотел, чтобы молва увязала уход Кутепова с мгновенным падением его молодого и хорошо зарекомендовавшего себя зятя, а возможно, БМП просто еще не подобрал в своем медвежьем углу человека, достойного быть секретарем в столичном райкоме, впрочем, вероятнее всего — Валеру просто оставляли напоследок, как приберегают в тарелке самый большой пельмень...

А пока БМП все вопросы, которые курировал Чистяков, замкнул на себя, телефоны в Валерином кабинете молчали как мертвые, и сотрудники опасливо обходили кабинет опального секретаря стороной, точно он недавно скончался от СПИДа, а санэпидемстанция еще не успела продезинфицировать помещение.

Чистяков переживал трудное время. Выписалась из

больницы Людмила Антоновна, а летом Николая Поликарповича долбанул инсульт. Он, чтобы заслужить прощение жены, ввязался в строительство садового домика, добыл благодаря оставшимся связям десять кубов «вагонки» и складировал на участке, а когда приехали шабашники обшивать домик, то «вагонки» на месте не оказалось — свистнули, подогнали грузовик, покидали в кузов и увезли в неизвестном направлении, потоптав к тому же все посадки. «Я его понимаю! Разве можно спокойно смотреть, как разворовывают страну?» — молвил дядя Базиль, выходя из палаты, где лежал Кутепов. У тестя отнялась правая рука, а вместо слов получалось теперь какое-то слюнявое гуканье. Вернувшись домой, Николай Поликарпович часами сидел на тахте, поглаживая действующей рукой перламутровый бок своего любимого баяна. Лялька забросила диссертацию и спиритизм, ходила за отцом, как за маленьким, и несколько раз заговаривала с Валерием Павловичем про то, что хочет вынуть спиральку и еще раз попробовать с ребенком, а если не получится, взять кого-нибудь из детского дома...

Как-то раз после совещания секретарей в буфете горкома к Чистякову подсел со стаканом чая Убивец, расспросил про здоровье тестя, рассказал анекдот про город Чмуровск, где ни хрена нет, даже антисемитизма, а потом, между делом, сообщил, что у БМП с городским руководством был о нем, Валере, очень странный разговор и что вроде бы Бусыгин получил-таки «добро» на устранение Чистякова. «Не зевай! Скоро эта сенокосилка и до тебя доедет!»

В тот вечер Валерий Павлович возвращался домой своим ходом. Машину он дал Ляльке — свозить тестя в кооперативную поликлинику: от четвертого управления Кутепова открепили, а участковый врач может поставить только один диагноз: «жив — мертв». Чистяков оказы-

вается, совершенно отвык от суетливых, толкающихся, потных сограждан, которые, плюхнувшись рядом на прогалину дерматинового диванчика и усаживаясь поудобней, как-то по-куриному двигают задницами; он отвык от этого дурацкого предупреждения «Осторожно, двери закрываются!», воспринимающегося теперь в некой глумливой связи со всем тем, что случилось с Валерием Павловичем за последнее время.

Напротив Чистякова сидел какой-то зачуханный мужик в лоснящемся зеленом костюме с вызывающим среднетехническим «поплавком» на лацкане. Но рядом с этим чучелом стояла очаровательная девчушка, темноволосая, голубоглазая, с белым упругим бантом на макушке. Он, видимо, папаша, нудно наставлял ее, а она, видимо, дочь, послушно кивала и гладила по костлявой руке. А потом они стали как бы мириться и сцепили мизинцы — маленький, розовенький и длинный, крючковатый, с желтым загибающимся ногтем... При виде этого ногтя Чистякову стало тошно, он выскочил на остановке, дождался другого поезда, но поехал не домой, а к дяде Базилю, с которым и напился до полного собственного изумления.

* * *

Благодаря многолетнему опыту Валерий Павлович очнулся и подключился к происходящему в самый нужный момент. Бусыгин читал вслух очередную записку: «Михаил Петрович, почему же раньше у нас не было таких острых конференций, а только одни занудные собрания?»

— А вот этот вопрос — прямо секретарю райкома партии по идеологии товарищу Чистякову. Полагаю, на ближайшем пленуме мы поспрашиваем его... А он нам ответит! Наш принцип в кадровой политике,

товарищи, такой: не умеешь работать по-новому — уходи!...

Пока БМП произносил этот приговор, Валерий Павлович равнодушно разглядывал страницу своего еженедельника, на которой красовалось дважды подчеркнутое слово «Надя» с жирным знаком вопроса. Потом Чистяков скосил глаза на листок, лежавший перед Мушковцом,— на нем был изображен очень странный кузнечик, скорее всего какой-то мутант: яйцеклад зазубрен, как пила, передние лапы похожи на скорпионьи клешни, а челюсти огромны и кровожадны...

Василий Иванович и Валерий Павлович обреченно переглянулись, а Бусыгин тем временем уже рассказывал про то, как борется против использования служебных машин в личных целях. В частности, сегодня вечером все работники аппарата райкома, включая и самого БМП, разъедутся с конференции своим ходом, а не на традиционных черных «Волгах»... Заодно проверят работу муниципального транспорта! Зал устроил овацию.

— Нравится? — тихо спросил дядя Базиль, имея в виду нарисованное кузнечикоподобное чудовище.

— Роскошно! — отозвался Чистяков.

— Я, знаешь, в детстве здорово рисовал... Мне даже советовали в «Строгановку» поступать...— вздохнул Мушковец.

Конференция закончилась почти в одиннадцать часов вечера. Но Бусыгин еще спустился в зал и продолжал отвечать на вопросы в гуще масс, как это теперь стало модно.

— На работу завтра не проспите? — тепло шутил он.

— Не проспи-им! — радостно отвечали люди.

БМП окружили плотным кольцом, смотрели на него с обожанием, а он удовлетворенно улыбался, подобный председателю колхоза, сфотографированному на фоне

выращенного им небывалого урожая. Сотрудники аппарата сбились поодаль и, терпеливо удерживая на лицах гримасы умиления, ждали, когда же народ отпустит своего первого секретаря.

— А вы рано просыпаетесь? — спрашивали люди.

— В шесть! — отвечал БМП.

— Ого!

— Час занимаюсь физкультурой по старославянской системе. Потом бегаю от инфаркта. В восемь на работе.

— Молодец...

Вдруг какая-то глупенькая девочка с сахарорафинадного завода протянула Бусыгину свой пригласительный билет и робко попросила автограф. БМП в ответ добродушно рассмеялся, сказал, что он не кинозвезда, а скромный партийный функционер, но автограф дал — и тут же десятки рук протянули ему свои глянцевые картонки с золотым тиснением... Смущенно пожимая плечами, БМП принялся надписывать бесчисленные пригласительные билеты.

— Вот это популярность! — Рядом с Чистяковым стоял Убивец и нежно наблюдал происходящее.— Любимец публики. К нам и то телевидение не ездит...

— Да-а... Теперь вот так...— неопределенно ответил Валерий Павлович.

— Давай-ка, Валера, я тебя домой подброшу! — предложил Иванушкин.— Ты у нас теперь безлошадный. Заодно и поговорим!

Чистяков заколебался: конечно, Убивец зря не подойдет — есть у него какая-то важная информация, но, с другой стороны, вот так запросто уйти во время небывалого единения БМП с народом — это откровенная демонстрация неуважения, совершенно лишняя для Валерия Павловича в его нынешнем положении.

— Брось! — заметив его сомнения, сказал Убивец.— Тебе это больше не нужно...

— Не понял,— похолодел Валерий Павлович.

— Поехали — объясню...

— Хорошо,— решился Чистяков.— Машина у служебного?

— Да.

— Хорошо... Я сейчас.

Он торопливо пошел, почти побежал в фойе. Свет там был уже погашен, стулья поставлены на стол ножками вверх. Только в подсобке мерцал огонек, и было видно, как толстая буфетчица, слюня пальцы, пересчитывает выручку. Надя стояла на том же месте, где еще совсем недавно имелся стенд «Досуг в районе», разобранный и унесенный сотрудниками отдела пропаганды.

— Прости меня за настырность,— увидев Валерия Павловича, начала Надя.

— Ну, о чем ты говоришь! Просто у меня сейчас трудное время...

— Да, я слышала...

— Слышала?! — дрогнул Чистяков и понял: если вопрос о снятии секретаря райкома дошел уже и до школьных учителей, дела его действительно ни к черту...

— Я слышала, как тебя Бусыгин критиковал,— объяснила она.

— А-а... Тебе нравится Бусыгин?

— Нет. Он упивается властью. Это плохо кончится...

— Для кого?

— Для всех. Людьми может управлять только тот, кому власть в тягость.

В фойе ввалилась ватага дружинников. Из-за нехватки мест народ стихийно перетащил стулья из буфета в зал, и вот теперь их возвращали на место. Завхоз показывал, куда ставить, и громко ругал самовольство активистов, однако, заметив Чистякова, замолк и принялся сосредоточенно пересчитывать стулья, за которые нес материальную ответственность.

— Надя,— тихо проговорил Чистяков.— Не волнуйся. Я все устрою...— Он замялся, соображая, стоит ли говорить, какой ценой достанется ему это несчастное койко-место в Нефроцентре, но, подумав, решил не говорить.

— Спасибо, Валера...

— Я тебе позвоню на следующей неделе. Раньше не получится.

— У нас нет телефона,— забеспокоилась Надя.

— Тогда позвони мне ты. В среду. Ладно?

— Спасибо, Валера!

— Выше голову, товарищ! Скоро восстанет пролетариат Германии!

— Ты знаешь,— вдруг какой-то жалобно-радостной скороговоркой начала Надя,— Дима роскошно играет в шахматы. У него второй мужской! Представляешь?

— Какой Дима? — не сообразил Чистяков.

— Дима...— пояснила она.— Мальчика зовут Дима!..

Когда, запыхавшийся, Валерий Павлович выскочил на улицу и очутился возле черной «Волги» с представительным московским номером на бампере, Убивец, уже сидевший рядом с шофером, посмотрел на Валерия Павловича с той грустной сосредоточенностью, которая в отношениях между людьми их уровня означала: а мог бы и не заставлять себя ждать! Когда они выруливали из внутреннего дворика ДК «Знамя», Иванушкин попросил водителя проехать через Новокузнецкую, чтобы подбросить домой секретаря райкома партии.

Улицы оказались совершенно пустынными, и просто не верилось, что всего три часа назад они были запружены плотным, неостановимым потоком словно бы прущих на нерест автомобилей. Мелькали мимо освещенные, но уже бесхозные в эту пору стеклянные милицейские будочки. Водитель включил приемник, отыскал среди эфирного воя и скрежета «Маяк» — передавали симфоническую музыку.

Чистяков подумал, что, уйдя из райкома, станет жить нормальной человеческой жизнью, накупит ворох классических пластинок, будет каждый вечер их слушать, особенно Чайковского и Сен-Санса. Он никогда не понимал по-настоящему музыки, но догадывался, что она примиряет с жизнью. А БМП, конечно, отдаст Валере это койко-место для Димы, обменяет на заявление по собственному желанию. Как будто в партии бывает оно, собственное желание!..

— После отчета на бюро горкома Бусыгин тебя уберет,— спокойно, как что-то само собой разумеющееся, сообщил Убивец.— Наш не хотел тебя отдавать, но ты же понимаешь!..

— Понимаю...

— Куда пойдешь?

— Не знаю...

— Возвращайся в науку.

— Куда? Ты смеешься.

— Поможем. Допустим, проректором к нам, в педагогический. А?

— Спасибо за заботу.

— Долг платежом...— отозвался Убивец и осторожненько спросил: — Дошло до нас, БМП вместо отчета хочет по горкому долбануть?! От имени и по поручению ширнармасс...

— Он со мной не советуется.

— Вестимо. С нами тоже. Товарищ не понимает...

— Объясните.

— Пробовали. Не понимает.

— Странно,— пожал плечами Валерий Павлович,— он как будто с вашим вместе учился?..

— Мы с тобой тоже вместе учились,— улыбнулся Иванушкин.— А почему бы тебе не выступить на бюро? Расскажешь, как он в районо кадры гноит...

— Сами вы, конечно, не знаете?

— Знаем. Но объективная информация с места — совсем другое дело. От тебя нужна лишь принципиальная оценка.

— Пугнуть его хотите?

— Немножко. Для профилактики.

— У тебя есть выход на Нефроцентр?

— Нет. На твой район вообще никаких выходов нет. Только через БМП...

В это время музыка закончилась и начались последние известия, сводившиеся в основном к тому, где и сколько посеяли, выплавили, пошили, сковали, собрали, изобрели, скосили... Куда только все девается? Потом директор какого-то завода стал с классовым остервенением ругать смежников. В заключение посетительница кооперативного кафе восторженно рассказывала, что впервые в жизни обедала за столом, застеленным чистой скатертью!

— Выступишь? — снова спросил Иванушкин.

— Я подумаю...

— Подумай. Елисееву, между прочим, скоро на покой. Через полгодика новый ректор понадобится...

Чистяков дурашливо отдал честь отъезжающей черной «Волге» и вошел в подъезд своего дома. Стеклянная стена служебной комнатки была наглухо задернута розовой занавеской — консьержка опять болела. Лифт стоял с разверстыми дверями и словно специально поджидал Валерия Павловича. Кнопки пульта оказались оплавленными и закопченными, а на полированной текстуре гвоздем нацарапали: «Номенклатура е...» Второе слово, отглагольное прилагательное, было написано вполне грамотно, а вот в первом имелось две орфографических ошибки. Раньше ничего подобного в их респектабельном доме не случалось!

Лялька оставила записку: ночует сегодня у родителей, так как «вагонку» нашли в соседнем садово-огородном товариществе, и тестю на радостях снова стало плохо.

Далее она сообщала, что в холодильнике жареная печенка, в шкафу спагетти и что «Лялюшонок» целует Чистякова в ушко... На столе, рядом с запиской, лежали две новенькие книжки «Спортивные игры в семье» и «Диатез у детей». Жена в последнее время одержимо скупала все издания, рассказывающие о секретах воспитания здорового потомства.

Валерий Павлович достал из холодильника початую бутылку водки и поначалу просто хотел выпить рюмочку, закусив тминной черной корочкой, но вдруг ощутил в желудке совершенно жуткий, клокочущий голод. Трясущимися руками он поставил на огонь печенку и воду для спагетти. Потом все-таки не выдержал, выпил рюмку и закусил остатками селедки, которые Лялька, с годами становившаяся все хозяйственнее, сложила в майонезную банку и залила подсолнечным маслом.

Дожидаясь, пока закипит вода, Чистяков полистал книжку про спортивную семью и в предисловии наткнулся на такую вот фразу: «Однажды к древнему мудрецу пришли родители и сказали, что мечтают вырастить своего ребенка здоровым, красивым, умным. «Когда нужно начинать воспитание?» — спросили они. «Сколько лет ребенку?» — спросил мудрец. «Пять дней»,— ответили они. «Вы опоздали на девять месяцев и пять дней!» — был ответ.

Валерий Павлович представил себе, как в понедельник войдет в кабинет Бусыгина и, дождавшись, когда тот соизволит заметить секретаря по идеологии, положит на стол заявление: «В связи... прошу... по собственному желанию...» БМП надломит правую бровь, глянет с нехорошим любопытством и скажет, наверное, так: «Думаю, сложно будет объяснить членам бюро, почему в такой трудный момент вы уходите с партийной работы!» Скажет, а про себя, конечно, подумает: «Слава тебе, господи! Сам догадался!» Потом Бусыгин спросит, куда же он собирается

уходить. Валерий Павлович ответит, что пока еще сам не знает, и в этот момент, именно в этот момент, попросит за Надиного пацана... за Диму. «Грехи молодости?» — поинтересуется БМП. Чистяков лишь кивнет. И тот не откажет, ибо покорный уход своего врага, а также его союзническое молчание на бюро горкома точно увяжет с этой странноватой просьбишкой. А молчание Чистякова БМП хорошо запомнит, потому что на бюро горкома будет порка, хорошая профилактическая порка районного руководителя, подзабывшего немного принцип демократического централизма. БМП вызовет по селектору секретаршу, эту лахудру, которую привез в Москву из своего Волчехренска, и скажет: «Маша, соедини-ка меня с директором Нефроцентра!..» А в среду, когда позвонит Надя, Чистяков скажет ей: «Все нормально, товарищ! Бери Диму, товарищ, и дуй срочно в Нефроцентр, товарищ!» «Спасибо, Валера!» — заплачет она. Что ж, за это Надино «спасибо» и за эти слезы благодарности стоит заплатить своей дурацкой судьбой, разбить ее об пол, точно свинью-копилку... Валерий Павлович выпил еще рюмку и вывалил в пузырящуюся воду целую пачку спагетти. В начале первого позвонил дядя Базиль.

— Ты куда, барбос, исчез? — спросил он уныло.— БМП тобой интересовался. Меня, грешного, выспрашивал, а заодно предложил за две недели найти себе новое место... Понял?

— Понял... У тебя есть что-нибудь на примете?

— Есть. Начальник отдела кадров управления ритуальных услуг. Все кладбища мои будут! Соглашаться?

— Соглашайся,— улыбнулся Чистяков.— Хоть похоронишь меня по-людски...

— Новодевичье не обещаю, а Ваганьково гарантирую! — успокоил Мушковец.— А куда ты все-таки делся?

— Да та-ак...

— Ну и что тебе это «да та-ак» по фамилии Ивашкин напело?

— Предлагало на бюро горкома плюнуть в БМП.

— Плюнь, Валерочка, христом богом тебя прошу, плюнь! Хочешь, я тебе своих слюней подбавлю?

— Я подумаю,— ответил Чистяков.

Спагетти разварились и лежали на тарелке вроде солитёра. Есть Валерию Павловичу расхотелось. Он побрел в спальную, прямо в одежде плюхнулся на «сексодром», и ему показалось, что кровать — это мягкий плот, медленно плывущий куда-то и тихо покачивающийся на волнах.

...«Товарищ, ты меня уважаешь?» — спросила Надя, открывая глаза. Чистяков хотел объяснить, что не просто уважает — любит ее, но не успел, ибо снаружи раздался душераздирающий младенческий вопль: очевидно, два гундевших кота все-таки решились на большую драку. Почти сразу же донесся топот и громкие, заинтересованные крики первокурсников: «Куси его, серый, куси!» Чтобы лучше видеть потасовку, студенты, грохоча, взбежали на крылечко Надиного «бунгало». И на занавеске, как в театре теней, сгрудились их живые силуэты. Счастливые обладатели друг друга опасливо косились на окно, страшились пошевелиться и оставались лежать все так же совокупно и все так же неподвижно обнявшись. Но исподволь сознание того, что буквально в метре от них, за тонкой стеночкой шумно толпятся ничего не подозревающие первокурсники, постепенно наполняло их тела боязливым и потому особенно острым желанием...

ЭПИЛОГ

1

В понедельник бюро городского комитета партии, заслушав и обсудив отчет первого секретаря Краснопролетарского РК КПСС тов. Бусыгина М. П., рекомендовало освободить его от занимаемой должности за развал работы в районе. Состоявшийся на следующий день пленум райкома партии рассмотрел организационные вопросы: единодушно освободил тов. Бусыгина М. П. и так же единодушно избрал на освободившийся высокий пост тов. Чистякова В. П., работавшего ранее секретарем того же райкома.

2

Поговаривали, что выбор остановили на нем по двум причинам: во-первых, его терпеть не мог свергнутый Бусыгин (впрочем, таких людей насчитывалось немало), а во-вторых (и это главное!), Чистяков проявил необычайную дальновидность и оказался единственным, кто не стал швырять камни в БМП на том беспощадном заседании бюро горкома. Вернувшись домой с пленума райкома партии уже в новом качестве, на вопрос жены: «Как дела, Валерпалыч?» — он только вымолвил: «Полный апофегей!»

3

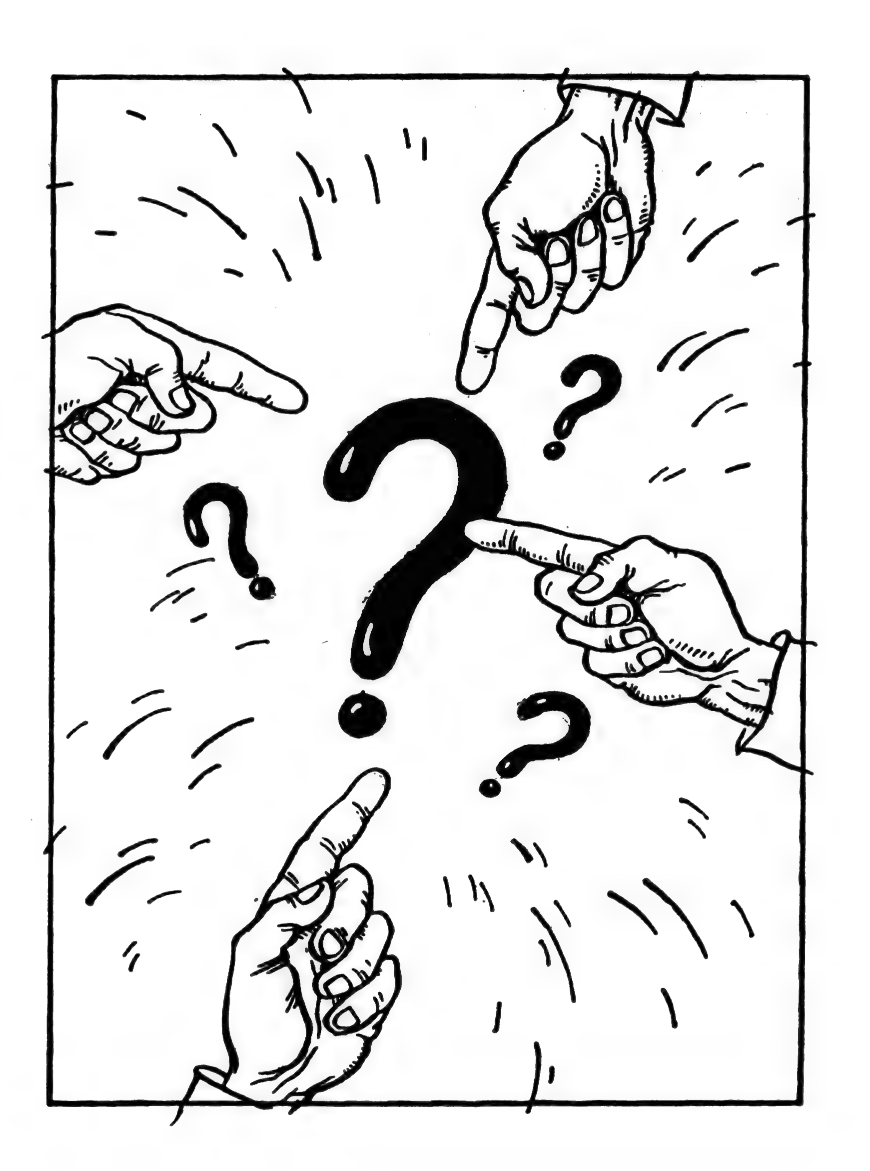
В среду, войдя в свой новый кабинет, где письменный стол уже был передвинут на другое место, а с полок убраны образцы народного творчества города Волчешкурска, откуда в свое время прибыл и куда теперь снова убывал товарищ Бусыгин, Валерий Павлович первым делом вызвал свою новую секретаршу Аллочку Ашукину, заказал себе крепкого чая с сушками и распорядился:

— Алла Викторовна, ко мне сегодня будет дозваниваться Надежда Александровна Печерникова. Запишите: Пе-чер-ни-ко-ва... Если я буду на активе, скажите ей, что вопрос решается... Пусть наберется терпения. Товарищи из Нефроцентра ее сами известят... И прошу вас, Алла Викторовна, будьте с ней поласковее. У Печерниковой серьезно болен ребенок... Очень серьезно! Понимаете?

— Понимаю,— кивнула Ашукина и уточнила: — Если вы будете на месте, вас соединять с ней?

— А зачем? — вздохнул Чистяков и ободряющей улыбкой выпроводил Аллочку из кабинета.

1987—1988 гг.



ОБ ЭРОТИЧЕСКОМ ЛИКБЕЗЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

Недавно, во время одного из популярных ныне телемостов (кажется, советско-американского) одна добрая наша женщина на простодушный заокеанский вопрос: «А как у вас в СССР дела с сексом?» — испуганно ответила: «Да что вы, никакого такого секса у нас нет!»

Надо ли объяснять, что она погорячилась? Несмотря на суровый социально-демографический эксперимент, поставленный в нашей стране и нашедший отражение даже в книге рекордов Гиннесса (я имею в виду чудовищное количество жертв этого эксперимента), народонаселение у нас все-таки прибавляется, и это свидетельствует о том, что секс, извечное общение мужчин и женщин, обеспечивающее непрерывность рода человеческого, у нас все-таки есть.

Но испуг этой славной женщины, шедшей на телемост как на ответственный идеологический праздник, понять можно. Ее товарка из иной социально-экономической системы запросто, не краснея, заговорила про то, о чем у нас даже между близкими людьми принято изъясняться намеками, кивками, полуулыбками, в крайних случаях прибегая к всемогущему слову «это». Не будучи особым специалистом как в теории, так и в практике, я все же могу попытаться выстроить синонимический ряд, относящийся

к рассматриваемому нами вопросу, исключив, разумеется, нелитературные пассажи. Ну, вот, например: коитус — сексуальный контакт — интимная близость — соитие — обладание — сожительство — половая жизнь... Если не считать малоприличного «траханья», пришедшего в наш язык, видимо, с легкой руки синхронистов-переводчиков западных фильмов, то ни одно из приведенных слов и сочетаний в разговоре почти не встречается. Во всяком случае, мне трудно представить себе мужчину, который поутру спрашивает подругу: «Ну, как, дорогая, тебе наше вчерашнее соитие?» Даже имеющаяся в нашем словаре эротическая лексика не освоена и неудобопроизносима. Конечно, отмахнувшись от «срамных» сказок Афанасьева и рискованных поговорок, можно объяснить все это исконным целомудрием народа. Но, как говорится, какая барыня ни будь, а все равно мужчины определенный интерес к ней испытывают...

Впрочем, шутки тут неуместны. К подобным проблемам нужно относиться серьезно, по-научному! К примеру, я уверен, что со временем появятся солидные монографии. Допустим, «Русь и Поле. К вопросу о диффузии славянских и тюркских сексуальных стереотипов». Или: «Влияние французской культуры на эротическое сознание русского дворянства XIX века». Наконец — «Сельская община и нормы интимной жизни русского крестьянства». Надо заметить, в минувшем веке в исторических и краеведческих, выражаясь по-нынешнему, трудах эти и подобные проблемы затрагивались.

В XX век Россия вступила не только чреватая революцией, но и озабоченная вопросами пола. Валерий Брюсов, например, пытался в стихах ощутить себя девушкой, только-только утратившей невинность:

Вся дрожа, я стою на подъезде,
Перед дверью, куда я вошла накануне...

5 Заказ № 4451

Эротическую тему в русском искусстве серебряного века нужно, как выражаются ученые, рассматривать особо. Но не могу не напомнить читателям о М. Арцыбашеве и так называемых неонатуралистах, отразивших каждый в меру своего таланта не только идейно-философские, но и эротические искания русского человека предреволюционной поры. Неонатуралисты были подвергнуты сокрушительной критике ортодоксов марксистской эстетики: «... Действия, склонности, вкусы и привычки мысли общественного человека не могут найти в себе достаточное объяснение в физиологии или патологии, так как обусловливаются общественными отношениями». Впрочем, тогда, до октябрьских событий, о том, что критика эта сокрушительна, кроме самих марксистов, по-моему, никто не знал.

Потом имя М. Арцыбашева было вычеркнуто из истории, лишь только одни специалисты, трясясь от негодования и обзывая «порнографом», вспоминали автора «Санина», когда давали характеристику общему кризису буржуазно-помещичьего строя и его культуре. Но вырвать страницу из учебника истории — еще не значит разрушить связь времен. Общеизвестен роман В. Пикуля «У последней черты». Многие знают, что это название заимствовано из ленинской оценки кризиса царизма. Но мало кто помнит, что вождь наш использовал для своей характеристики название нашумевшего романа М. Арцыбашева «Последняя черта», романа, который вызывал яростные споры и даже был предметом судебного разбирательства.

Считается, что в канун революции Российское государство совершенно прогнило и достаточно было просто ткнуть в него пальцем четырехлетней империалистической бойни... Считается, что повышенный интерес к вопросам пола в ту эпоху был результатом этого разложения, персонифицировавшегося в «сумасшедшей русской любовной машине» — Г. Распутине. Однако если все-таки отказаться от позиции человека, стоящего в белом фраке посреди

всеобщей антисанитарии, то, вероятно, повышенный интерес к сексуальной проблематике в начале века не только в России, но и во всем мире возможно объяснить не только загниванием и разложением, а и некими общечеловеческими свойствами и законами развития общественной морали, ибо, простите за азбучность, до возникновения классового общества дети зачинались тем же способом, что будут зачинаться и после исчезновения классов вместе со всеми семью их признаками.

Иначе как мы объясним тот факт, что и при диктатуре пролетариата проблема взаимоотношения полов стояла тоже достаточно остро, была предметом шумных дискуссий, экспериментов в сфере семейно-брачного законодательства, скандальных книг, впоследствии вытравленных из советской литературы. Кто, кроме тех же специалистов, помнит о недавно ушедшем от нас С. Малашкине, авторе «Луны с правой стороны», потрясшей общественность более полувека назад.

Между прочим, не осатаневшая от безделия великосветская «магдалина», но пламенная революционерка А. Коллонтай выдвигала и даже пыталась внедрить в массы концепцию «стакана воды». Нет, к драматургу Скрибу эта теория отношения не имеет. Упрощенно говоря, речь шла вот о чем: почему бы в новом, свободном от классовых, сословных и прочих предрассудков обществе гражданам не относиться к интимной близости как к стакану воды в жаркий день. Правда, мы знаем, что В. И. Ленин резко отрицательно относился к «поцелуям без любви» — именно так он именовал безответственные половые контакты, используя при этом строчку из стихотворения уже поминавшегося мной В. Брюсова. Кстати, читая периодику нашего времени, приходишь к трагическому выводу, что последние годы своей деятельности вождь занимался нередко тем, что предостерегал от последствий совершенного. Да, революция раскрепостила не

только классовые инстинкты: по улицам обновленного и потрясенного Петрограда разгуливал футурист жизни В. Гольцшмидт в окружении таких же, как и он сам, обнаженных дам. Да, у революции были серьезные планы на унизительный буржуазный брак-сделку; она ставила своей целью раскрепостить женщину и уравнять ее в правах с мужчиной. В анкетах того времени не желающие ни в чем уступать сильному полу комсомолки в графе «семейное положение» писали: «Холоста». Но красиво манифестированное равноправие довольно скоро превратилось в равное право женщины на тяжелый физический труд, не освобождавший, кстати, от не менее тяжкого труда домашнего, равноправие трансформировалось в равное право с мужчинами сгинуть за колючкой Архипелага ГУЛАГ.

Если главный долг людей — стать исправными винтиками в отлаженной государственной машине, то у людей все должно быть одинаково — и душа, и тело, и одежда, и мысли... Чтобы общественное всерьез встало над личным (а только на основе такого мировоззрения может работать тоталитаризм), нужно объявить личное, куда входит и интимная жизнь, чем-то низким, малодостойным, даже постыдным. Боже, да появись в те времена какой-нибудь Лысенко от сексологии и предложи способ размножения советских людей при помощи социалистического почкования, его ждала бы такая слава и такая любовь властей предержащих, в сравнении с которыми триумф приснопамятного Трофима Денисовича с его дурацкой ветвистой пшеницей показался бы детским лепетом на лужайке!

Но такой способ даже в отдаленной перспективе не намечался — и пришлось идти другим путем. Все возрастающее обострение классовой борьбы рано или поздно с полей, заводов, пленумов, из наркоматов, красноармейских штабов должно было переместиться на брачные ложа. Интересная деталь: люди, в ту пору стоявшие у власти (про сексуального злодея Берию я даже не говорю), так

вот, эти люди отличались весьма своеобычными брачными стереотипами. Чего только стоит традиция проверять партийного соратника на излом, ввергая его супругу в узилище. Мол, кого ты больше любишь, партию или жену? Такой, понимаете ли, идейно-половой мазохизм!

Не случайно в ту пору читателям и зрителям настойчиво предлагались для осмысления произведения, подобные «Любови Яровой» К. Тренева и «Сорок первого» Б. Лавренева. Напомню, в первом случае большевичка-подпольщица Любовь Яровая выдает красным своего любимого мужа, бывшего революционера, не принявшего октябрьских событий и связавшего свою жизнь с белым делом. Во втором случае красноармеец Марютка убивает своего ненаглядного, голубоглазого подпоручика Говоруху-Отрока, выполняя приказ командира: в случае опасности плена живым его белым не отдавать! «В воде, на розовой нитке нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно. Она шлепнулась в воду, попыталась приподнять мертвую изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем...»

Для меня совершенно очевидно, что в обоих случаях авторы ведут речь о страшной трагедии братоубийственной резни, в слепом своем ожесточении заставляющей даже влюбленных уничтожать друг друга. Но в нравственной атмосфере той эпохи эта аномалия, это кровавое затмение выдавалось за норму. Мало того, за образец поведения, ибо на самом-то деле под завесой идеологического камлания готовилась почва для тотального контроля над каждым человеком. От этого контроля — по замыслу его организаторов — нельзя было скрыться нигде, даже в объятиях любимого человека. За пуританством диктатора (как правило, показным) всегда стоит не забота о нравственности

управляемого им общества, но неослабная забота о подконтрольности своих подданных.

Эротика, пусть кому-то покажется это натяжкой, таила в себе вызов тоталитарному обществу, основанному на абсолютизации и даже обожествлении одного из многих элементов общественной жизни, насильно вырванного из хитросплетений бытия. Абсолютизированы могут быть классовые противоречия, национальные отношения, религиозное сознание... Окиньте мысленным взором диктатуры XX века в различных странах — и увидите: все они опирались на этот принцип. А эротика? Она, погружая подданного в тонкости взаимоотношений между мужчиной и женщиной, убеждая его, какое важное влияние оказывает сексуальная жизнь на судьбу, вольно или невольно заставляла сомневаться в правильности мифа о божественном абсолюте, на котором держится режим. Не потому ли советские люди лишь недавно стали узнавать, что, оказывается, Фрейд — не бранное слово, а имя великого ученого.

Кстати, примеры раскрепощающего воздействия эротики на умы и души можно отыскать и в других эпохах: тот же «Декамерон», на который неоднократно ссылается в своем эссе Лоуренс... «Сексапильные» святые отцы не просто забавны, это — смелый вызов всесильной церкви (я почти цитирую сразу несколько классических советских трудов о литературе Возрождения). Да, это вызов церкви, тоже некогда претендовавшей на тотальный контроль над духовной и физической жизнью паствы и, между прочим, своевременно от этого отказавшейся для того, видимо, чтобы атеисты прошли тем же самым путем и уперлись лбом в ту же самую стену. Но факт остается фактом: были времена, когда отцы церкви на своих высоких совещаниях и собраниях совершенно серьезно рассматривали вопрос, допустимо ли, чтобы добрый христианин для ублаготворения своей законной супруги использовал не только аксес-

суар, предназначенный для этого богом, но и способствовал сему благому делу посредством собственного перста.

Однако воротимся на отечественную почву. Искусство, приравненное к штыку, решительно было направлено на формирование в сознании миллионов образа женщины-сподвижницы, по совместительству могущей также выполнить функции жены и матери. Вспомните, чем заканчивались так называемые «лирические» ленты того времени: обретя друг друга, влюбленные встают в общий строй, берут в руки знамена и с непременной маршевой песней шагают вперед... Нет, я не иронизирую, я просто пересказываю финал кинофильма «Цирк». Агитатор и горлан пролетарской государственности В. Маяковский учил:

В поцелуе рук ли,
                губ ли,
В дрожи тела
близких мне
          красный
                    цвет
моих республик
тоже должен
пламенеть...

Без тени улыбки скажу: это — уникальное слияние высокой эротики и советского патриотизма. Более того, данная традиция уходит в глубь русской поэзии, не однажды сближавшей возвышенное чувство к женщине с любовью к Родине. Но, увы, очень часто именно художественная дерзость легче всего огрубляется, оглупляется и используется идеологической машиной в качестве прямой противоположности тому, что имел в виду автор.

А пройдите-ка по подземному дворцу станции метро «Площадь Революции» и свежим, не «замыленным» глазом осмотритесь кругом! Отлитые в бронзе товарищи по борьбе женского пола вызывают любые ассоциации, вплоть до горящих изб и скачущих коней, но только не

мысли о трепетном женском начале. Если народ построен в колонну и поведен на штурм сияющих вершин, деление по половому признаку рождает массу трудностей. А трудностей у организаторов наших побед и так хватало.

Конечно, презрение к «изячной» жизни и сопутствующим ей любовным томлениям было рождено переломным временем и азартом отказа от всего, чем дорожил старый мир, который предполагалось разрушить «до основанья, а затем...». Но этот истошный ригоризм молодости был сознательно поддержан и развит людьми, понимавшими, что не только «изячной», а просто нормальной жизни народу они пока дать не могут. Странно было бы настойчиво культивировать «науку страсти нежной» среди граждан, живущих по преимуществу в ульеподобных коммуналках и общежитиях.

Но, поведя наступление на эротику как на составную часть здравого мироощущения и раскрепощенного сознания, власть была далека от того, чтобы искоренить и, так сказать, грубо материальную базу этой самой эротики, ибо, поизведя население в разного рода кровавых экспериментах, была горячо заинтересована в повышении рождаемости. Будущие специалисты еще разберутся, как повлияло на сексуальные стереотипы советского человека запрещение абортов и противозачаточных средств. Человек во френче строго смотрел с портрета, заменившего во многих домах икону, и как бы сурово предупреждал супругов: «То, чем вы собираетесь заняться, дело не личное, но государственное! Имейте в виду!» Впрочем, и сегодня, будучи легализован, аборт в нашей стране остался своеобразной и жестокой формой наказания женщины за нежелание выполнить свой долг перед государством. Что же касается противозачаточных средств, то презервативы — это единственное, видимо, в нашей стране изделие, которое от Бреста до Владивостока выпускается в единой, неколе-

бимой модификации, ибо в человеке все должно быть одинаково!..

В чем-то я согласен с Л. Петрушевской: рассказывать советским людям об эротике — то же самое, что объяснять различия между последней моделью «пежо» и предпоследним выпуском «рено» человеку, который, кроме кустарного самоката на подшипниках, в своей жизни ничего не видел. Если предположить, что существовала античная, ренессансная, барочная эротика, то нашу эротику я бы назвал «барачной». Нашего соотечественника за границей сразу можно обнаружить, во-первых, по привычке угрюмо смотреть на витрины, одновременно перебирая в кармане смехотворную валюту, а во-вторых, по нездоровому хихиканью и толканию друг друга в бок при виде на прилавке тамошней «союзпечати» журнала, с которого улыбается милая девушка, обнажившая грудь не для кормления, а ягодицы не для инъекции.

Одержимые установкой на воспитание народа в соответствующем духе, наши командармы идеологического фронта напоминали чем-то недалеких родителей, скрывающих до самой брачной ночи от своего отпрыска, для чего предназначены природой те или иные части тела. В книгах, приходивших к советскому читателю из-за рубежа, где процесс легализации эротики в общественном сознании шел своим чередом, вымарывались все неподобающие подробности. Даже в ущерб сюжету и здравому смыслу. Исключения делались, да и делаются, лишь для академических текстов; впрочем, и тут находят способы смягчить зарвавшегося классика при помощи «щадящего» перевода. Из собраний сочинений вслед за произведениями, отражающими так называемые реакционные взгляды титанов духа, вылетают и сочинения, отмеченные ненужным нашему читателю интересом к взаимоотношениям между полами. Так, например, в последний десятитомник Бальзака «Озорные рассказы» почему-то не вошли. Карандаш

редактора охраняет лишь те пикантные эпизоды в книгах западных писателей, которые иллюстрируют глубину нравственного разложения буржуазного общества. А сколько зарубежных писателей вообще к нам не дошли из-за своего, как говорится, нездорового увлечения эротикой? Достаточно назвать американца Генри Миллера... Хотя, разумеется, если исходить из того, что книга-бестселлер — это всего лишь коварный способ одурачить доверчивого западного читателя-потребителя, тогда произведения названного автора и других его коллег можно и в дальнейшем не переводить на русский язык. Зачем?

А зарубежные кинофильмы? После первоначального объятия героев кадр конвульсивно дергается... «Вырезали!» — с пониманием переглядываются зрители. Лента, которую довелось увидеть на фестивале, так же отличается от прокатной копии, как фунт стерлингов от фунта лиха.

Если бы телевизионщиком был я, непременно раскопал бы все эти пикантные вырезки (ведь не выбрасывали же?!), смонтировал бы, оснастил хорошим закадровым текстом... Если начать со сцен, купированных еще из трофейных лент, а потом просто соблюдать хронологию, вышел бы замечательный, по всем правилам дидактики, эротический ликбез. Отдаю эту идею телевидению безвозмездно, прошу только сердечно поблагодарить меня в титрах!

Но давайте снова вернемся к отечественному опыту!.. Что мы все, право, про импорт да про импорт! В советской литературе, по-моему, происходило следующее: представьте себе страну или даже планету, где самое неприличное — это вслух говорить о пище и даже намекать на то, что люди вообще едят. Вот такие странные нравы! Теперь вообразите себе литературу этой планеты. Тот факт, что в художественных произведениях действуют полноценные герои, а не дистрофики, неизбежно должен наводить читателей на мысль о питании литературных персонажей. Они,

читатели, конечно, догадываются, что он, герой, заторопившись после службы домой, хочет (о, я краснею!) плотно поужинать или что он, герой, любит свою жену (и как только язык поворачивается!) за ее умение прекрасно готовить... Но я представляю, какая буря поднялась, если бы автор попытался написать, что герой выходит из столовой, вытирая после еды губы! Но самое удивительное заключается в том, что изящная словесность этой планеты ломится от сочинений, посвященных страданиям голодающего человека! Думаю, нет нужды продолжать эту весьма прозрачную аллегорию: для того чтобы попасть на эту удивительную планету, не нужно никуда летать — достаточно зайти в библиотеку. А писатели, все-таки обращавшиеся к эротическим проблемам, выглядели в нашей литературе поистине как инопланетяне. Напомню, что сексуальная заостренность некоторых вещей, вошедших в свое время в «Метрополь», возмутила «общественность» чуть ли не больше, чем сам факт создания неподцензурного альманаха.

Но гласность, как любили выражаться в прошлом веке, обнимает все сферы нашей жизни. Обняла она и эротику. Вот на страницах «Огонька» печатается (правда, под иным названием) «Маленький гигант большого секса» Ф. Искандера — самая сильная, по-моему, прозаическая вещь в «Метрополе». Вот маленькая Вера в позе наездницы обсуждает со свои милым разные семейно-бытовые проблемы. Вот и ленинградское телевидение по вечерам показывает нам художественно обнаженных девушек. Вот начинают выходить в свет книги, о которых не могли даже мечтать те, кто не знает языков, а это основной удел людей, выросших за железным занавесом или за пыльными кумачовыми портьерами.

Разумеется, не все идет гладко. Приведу один близкий мне пример. Режиссеру Сергею Снежкину, экранизировавшему мою повесть «ЧП районного масштаба», пришлось

решительно отстаивать свое право на введение в фильм достаточно «крутых» интимных сцен, необходимых, по его убеждению, для художественной концепции ленты. Киноначальство спорило, возражало, но не вырезало. Теперь спорит, соглашаясь или возражая, зритель. По-моему, так и должно быть в обществе, где деятель культуры — творец, а не инженер человеческих душ, ибо над инженером всегда можно поставить главного инженера...

Однако все чаще и чаще раздаются встревоженные голоса: «Неужели из-за мутных потоков непотребства, затопивших книги и экраны, мы не убережем исконное народное целомудрие?!» Ну, это — преувеличение: никаких потоков нет, пока мы имеем дело лишь с первой капелью. Но ратующим за «исконное целомудрие» я бы советовал поговорить с врачами соответствующих лечучреждений. Они расскажут, что речь идет не о целомудрии, а об элементарной физиологической безграмотности, даже дремучести, о полном отсутствии культуры интимных отношений — эдакие сексуальные Пила и Сысойка... Встречаются опасения, что легализация эротики будет способствовать более раннему приобщению молодежи к половой любви. Не волнуйтесь, товарищи, резкое «помолодение» интимных контактов началось у нас задолго до сегодняшнего дня. Кстати сказать, в некоторых странах, где давно отказались от истошного пуританства, весьма высок процент молодых людей, вступающих в интимные отношения только после двадцати лет, семьи там крепче и долговечнее, нежели у нас, да и детей в этих семьях поболее нашего...

Есть и другой важный аспект. Говорят, когда-то японцы не ведали лобзаний, не знали, что такое поцелуй,— и все тут! Но с приобщением Страны Восходящего Солнца к мировому сообществу ситуация резко изменилась: целуются! Эротика в той или иной степени стала важным элементом культуры тех развитых стран, с кото-

рыми мы, соответствуя новому мышлению, затеяли плодотворное общение. Влияние — верю, что взаимное,— неизбежно. Ну, и как будем общаться? С ножницами и красным карандашом в руке? Будем наших туристов инструктировать на предмет эротических диверсий, как раньше инструктировали по поводу диверсий идеологических?

Эротическое сознание как романтизированное, эстетизированное, если хотите, отражение сексуальной жизни человека существовало всегда. Образно говоря, эротика соотносится с физиологией, как искусство с жизнью. Здесь есть и свои законы отражения, и свои условности, и свои тайны, и своя — уж извините! — воспитательная функция. Грубо выражаясь, молодые люди, посмотревшие хороший эротический фильм, наверное, уже не захотят общаться в пропахшем кошками подъезде. Говорят, и детишки, зачатые по-людски, красиво,— и лучше получаются, полноценнее... Или за нашими рассуждениями о нравственности продолжает скрываться обыкновенная неспособность создать человеку нормальные условия для существования? Молодожены годами дожидаются собственного угла, а гостиничное хозяйство не управляется даже с командированными, не то что с влюбленными, озабоченными классической проблемой единства места и действия... Запретный плод все равно будет сорван и съеден. Но съесть его можно с удовольствием, красиво, по всем правилам веками вырабатывавшегося этикета. А можно сожрать, давясь, запихивая в рот грязными руками и чавкая...

Без сомнения, очень скоро и у нас встанет вопрос, где проходит граница между эротикой и порнографией, между откровенностью и непристойностью. Уверяю, что эта проблема волнует не только нас. Я где-то читал, что картина Рубенса «Зачатие Марии Медичи» не выставляется из соображений нравственности. В Англии, например, совсем недавно приняты новые законы, охраняющие мораль юно-

шества. Проблема границы между эротикой и порнографией существовала всегда, но ведь это не повод для войны на уничтожение! А поправить тех, кто переступает границы здравого смысла, мы всегда сумеем — с запретительством у нас все в порядке.

Однажды с одним моим товарищем я разговаривал об эротических мотивах у Пушкина. Он с упоением декламировал знаменитое «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...». Вот ведь — и дерзко, и нежно, и откровенно, и целомудренно! — восклицал он и продолжал:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно с тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья...

После разговора я никак не мог избавиться от ощущения, что в цитате была какая-то неточность, и, воротясь домой, проверил: Так и оказалось:

О, как мучительно тобою счастлив я!

Чувствуете разницу? В первом случае — прозаизм, во втором — высокая, прекрасная эротика!.. Почему я вдруг решил закончить мои заметки этим случайным воспоминанием, ей-богу, и сам не знаю...

1989 г.

ТОМЛЕНИЕ ДУХА

«Я вырастал в глухое время...» — это сказано обо мне и моем поколении. Мне – тридцать три. Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать точнехонько укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям, очень подходит строчка из Писания «Суета и томление духа». Томление духа. Было оно, было томление духа... Была бы одна только суета и говорить что-либо нынче посовестился бы!

Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в кровавые, несправедливые или выморочные годы. Человека можно обречь на бессмысленную суету, но заставить человека считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной, к счастью, невозможно. Увы, именно на эту особенность людских душ всегда рассчитывают разного рода пакостники, выдающие себя за творцов истории: мол, будут людишки свои прожитые годы оправдывать и нас заодно оправдают...

Смертная чаша сталинского геноцида миновала мое поколение. Мы не видели физического уничтожения инакомыслящих, но мы видели другое. Вот могучий столона-

чальник взглянул на своего ершистого молодого подчиненного и, покачав головой, промолвил: «Товарищ не понимает...» Но это еще полбеды, хотя и ее иным хватало на всю оставшуюся жизнь. А вот если о твоих мыслях и разговорах сказано: «С душком!» — это уже настоящая беда. О, эти деятели с чуткими политическими носами! Скольким моим ровесникам они сломали хребты!

Это в моем поколении появились бичи с высшим философским образованием и своим собственным, никому не нужным взглядом на мироздание. Это в моем поколении появились воины-интернационалисты, которые сегодня вынуждены оправдываться, что недаром проливали кровь на чужой земле, хотя оправдываться должны не они, а те, кто их посылал. Это в моем поколении появились рабочие парни, проникающиеся чувством пролетарской солидарности только в очередях за водкой. Это в моем поколении начался исход творческой молодежи в дворники и сторожа. Это в моем поколении явились миру инженеры-шабашники, которые, перекуривая на кирпичах возле недостроенной фермы, спорили о вполне реалистических, но совершенно нереальных тогда планах перестройки экономики. Это в моем поколении завелись преуспевающие функционеры, те, что, отдремав в очередном президиуме и воротившись домой, любили перед сном перечитать избранные места из ксерокопированного Оруэлла, приговаривая: «Во дает, вражина! Один к одному...»

Тем временем социализм становился все более развитым, а единственный привилегированный класс — дети все более заторможенными. Все эти годы бессмысленно расходовались не только природные богатства страны, но и духовные ресурсы нации. Хочется верить, что второе в отличие от первого восстановимо.

А. Блок писал некогда о «тайной свободе». Применительно к моему поколению я бы говорил о «кухонной свободе». Ведь сознаемся: многое из того, о чем пишут

сегодня газеты и журналы, было нам известно и служило издавна предметом горячих кухонных споров. Генералиссимус никогда не был для нас великим стратегом, Раскольников и Чаянов никогда не были преступниками, Жданов никогда не был «выдающимся организатором культурной жизни страны», коллективизация никогда не была «героической страницей истории социалистического строительства». Если б мы ничего этого не ведали, то у нас сейчас была бы не Гласность, а, например, Осведомленность.

Некоторые товарищи опасаются, что «чрезмерная» гласность приведет молодежь к непочтительности и даже нигилизму. Не волнуйтесь, дорогие товарищи! Гласность воспитывает именно уважение к устоям, а непочтительность происходит от той закамуфлированной под передовую идеологию белиберды, которой с лихвой хлебнуло мое поколение. Поэтому, наверное, отличительная черта моего ровесника — ирония. А что вы хотите, если любой доклад нашего тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?!

Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспреннего вранья, и, может быть, поэтому не окаменели.

Со временем, думаю, выйдут в свет сборники анекдотов и черного юмора — свидетельства горького народного оптимизма. Надеюсь, что они собраны, по крайней мере компетентными органами, и мы убедимся, с каким мужеством и блеском люди отстаивали свое право не верить в директивную ложь, не любить придуманных героев, не восхищаться несуществующими победами... Я даже вижу будущую монографию о том, почему трилогию «Малая земля» — «Возрождение» — «Целина» народ гениально окрестил «Майн кайф»...

Еще со школы помню, загнивавшей дворянской молодежи была свойственна «вселенская скорбь». Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа,

ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание! Ирония вполне может быть мировоззрением отдельных граждан, деятелей культуры, даже ответработников (кстати, среди них я чаще всего встречал ироничных людей). Но ирония не может быть мировоззрением народа! Она не созидательна. Не потому ли у нас сталкиваются или горят пароходы, сходят с рельсов поезда, заваливаются недавно принятые комиссией дома, что живем точно невсерьез? Хирург не должен с инфернальной улыбочкой залезать к нам во внутренности, учитель не имеет права с двусмысленной усмешкой внушать идеалы, в которые сам не верит, офицеру негоже, видя, как бессильно извивается на перекладине доходяга-призывник, цедить с ухмылкой: «Вот ЧМО, что от него ждать»... ЧМО — это человек Московской области. Научно выражаясь, аббревиатура.

Общество жалуется, что выросло поколение с несерьезным отношением к труду, к окружающим людям, к прошлому... А если вознаграждение за труд дает человеку лишь бескрайние возможности вставать в любую очередь за любым выброшенным в торговую сеть дефицитом? А если ближний твой воспринимается прежде всего как конкурент в трудном деле обретения этого самого дефицита, и, может быть, именно поэтому люди разучились улыбаться друг другу? А если в системе сервиса на одну условную единицу услуг мы получаем десять единиц безусловного хамства? А если диалектический закон отрицания состоит прежде всего в том, что каждый вновь назначенный столоначальник полностью отрицает своего предшественника, снятого с должности и строго наказанного персональной пенсией всесоюзного значения? Откуда взяться серьезному отношению!

Вы когда-нибудь видели, скажем, в обкоме партии портреты первых секретарей, допустим, за последние пятьдесят лет? Чтобы висели в хронологическом порядке, с указанием заслуг и промахов. Если снят — за что? Если повы-

шен — почему? Лично я таких галерей ни в обкомах, ни в горкомах, ни в райкомах не видел. Может быть, боимся: вывесим их всех рядком-ладком и получится что-то вроде истории города Глупова...

Впрочем, если говорить без иронии, корни этой безликой истории уходят гораздо глубже. Сколько десятилетий вся предшествующая философия толковалась только как постамент под скульптурную группу — «Маркс и Энгельс читают первый номер «Новой рейнской газеты», вся предшествующая литература — как пробы пера в поисках метода социалистического реализма, вся предшествующая история — как учебные стрельбы перед залпом «Авроры». Гуманитарное образование, полученное моими сверстниками в вузе, можно назвать образованием, лишь не выезжая за пределы Отчизны. Та же ситуация, что и с рублем.

Ладно, бог с ними, с этими излишествами! Но уж историю нашей революции, которая потрясла мир, мы учили как следует! Три этапа освободительного движения в России знаем, как «Отче наш». Впрочем, кто нынче знает «Отче наш»...

Да, нам смутно ведомо, что в третьем этапе освободительного движения, ради которого, собственно, декабристы и будили Герцена, кроме большевиков, участвовали еще кое-какие партии. Что знает о них мой ровесник, не занимавшийся этим вопросом специально? Знает примерно следующее. Анархисты — заговорщики. Лохматые, бородатые, с тягой к уголовщине. Черное знамя с черепушкой. Требовали, дураки, отменить государство, совершенно не соображая, кто же будет присылать конные милиции, когда народ после матча прет со стадиона. Эсеры (правые) — заговорщики. Косой пробор, рука засунута за борт френча. У их лидера были «глаза бонапартьи», и он бежал от гнева народных масс, переодевшись в женское платье. Не поняли исторических слов знаменитого матроса: «Господа, расходитесь, караул устал!» — и почему-

то не могли смириться с роспуском Учредительного собрания, где имели большинство.

Меньшевики — заговорщики. Вот он, маленький, суетливый меньшевик выступает на митинге и поначалу даже несколько сбивает отдельных рабочих с толку, но потом на грузовик влезает большевик, передает массам привет от товарища Ленина и под свист и улюлюканье выгоняет оппортуниста с митинга. Эсеры (левые) — заговорщики. Сначала дружили с большевиками. Потом послали некоего Блюмкина убивать посла Мирбаха, а сами тем временем подняли мятеж. Посол убит, мятеж подавлен, партия левых эсеров распущена, а некий Блюмкин продолжал служить победившему народу на приличных должностях (вплоть до расстрела).

Мой ровесник с высшим образованием, знающий о политической жизни России больше, может с чистой совестью бросить в меня идейно вывереннный камень!

А ведь я даже не говорю о каких-то там кадетах, которые, повязавшись салфетками, неопрятно жрут цыплят, пьют шампанское, заглядывают под юбки танцоркам кардебалета и рассуждают исключительно про Босфор и Дарданеллы. А их лидера так и прозвали — Милюков-Дарданелльский. Разумеется, заговорщики...

Велика ли честь переиграть в политической борьбе таких дебилов? Кого в конце концов дурачим? Кого унижаем — их, бывших, или нас, настоящих? Почему ярлыки, приклеенные тогда, в запале борьбы за власть, до сих пор приводятся как бездонные в своей историко-философской глубине оценки? Наконец признали, что сокрытие фактов и реалий нашего прошлого нанесло серьезнейший урон историческому сознанию народа. Но еще больший урон, по-моему, нанесло одурачивание истории или, если хотите, одурачивание историей.

Нынче любят говорить: у истории не бывает сослага-

тельного наклонения. Не знаю, возможно, оно и так, но это никоим образом не должно мешать разбираться в давних аргументах наших соотечественников, придерживавшихся иных взглядов на будущее России и исповедовавших иные социальные теории. Это необходимо сделать, даже если бы наш путь в последние семьдесят лет был усыпан лепестками роз. В этом — вежливость потомков. Но путь-то был усеян не лепестками...

Конечно, проще и легче списать все наши послереволюционные неприятности на ужасный характер генералиссимуса, но, поверьте, «задумчивые внуки», восстанавливая старательно порванную нами связь времен, однажды полюбопытствуют: а нет ли какой-нибудь связи между героическим матросом, заботящимся об уставшем карауле, и генсеком, прицеливающимся в делегатов XVII партсъезда из подаренной винтовочки?

Может быть, полезно задать себе вопрос: почему гражданская война, отгороженная от нас бедами и победами Великой Отечественной, до сих пор не изглаживается из народной памяти? Не потому ли, что от той братоубийственной войны повелось беспощадное разделение на «чужих» и «своих»? На своих, ради которых можно, не задумываясь, отдать жизнь, и на чужих, которых, не задумываясь, нужно лишить жизни. И не это ли разделение стало впоследствии нравственной основой сталинских преступлений и изумительного народного единодушия: «Убить, как бешеных собак!»

Мог ли вчерашний южноуральский партизан поверить, что Блюхер — враг и японский шпион? Мог ли вчерашний делегат III съезда комсомола, где блестяще выступал и Н. И. Бухарин, поверить, что он — враг и бог знает чей шпион? Отвечу: мог! Мог, если отец двумя десятилетиями раньше мог убить сына, пошедшего с красными. Мог, если женщина могла застрелить своего единственного, синеглазого за то, что он остался верен белому делу. Перечитайте

«Родинку» М. Шолохова и «Сорок первый» Б. Лавренева. Эти книги не запрещались, из библиотек не изымались. Человек переводился в разряд классовых врагов и сразу переставал быть человеком. Сначала врагом объявляется тот, кто против нас, потом тот, кто не с нами, потом тот, кто не поспевает за нами, потом тот, кто справа или слева... и так до бесконечности. Нетерпение всегда идет рука об руку с нетерпимостью. Именно это испугало в революции многих русских писателей, но еще совсем недавно их точка зрения квалифицировалась как «мелкобуржуазный гуманизм».

Из Террора, какого бы цвета он ни был, народ не выходит обновленным, а только — ожесточенным. Жестокость, какой бы социальной демагогией она ни оправдывалась, остается жестокостью. И еще неизвестно, что от чего больше зависит — средства от цели или цель от средств, с помощью которых она достигается. Нет, я не клоню снова к сослагательному «бы» в истории. Я просто-напросто думаю о том, что даже единственно правильное в конкретной исторической ситуации решение порой может быть причиной будущих бед и трудностей.

Возьмем тот же комсомол. Уже на одном из первых съездов делегаты постановили распустить организации бойскаутов и юных коммунистов как чуждые истинному пролетарскому движению, считая, что комсомол один справится с молодежью. Возможно, тогда это было верным тактическим решением, но в результате сегодня семидесятилетний ВЛКСМ только учится общаться с неформальными объединениями молодежи, только разворачивается к конкретному молодому человеку, скрипя всеми своими структурами и сочленениями. И это понятно: трудно из министерства по делам молодежи, каковым комсомол обязывали быть многие десятилетия, взять и превратиться в боевую, живую, ищущую (ну и так далее) организацию. Тем более, что нынешние партийные кураторы комсомола

суть лучшие представители и воспитанники этого самого министерского комсомола.

Кстати, занимаясь историей комсомола, я совсем недавно смог на своем опыте убедиться, насколько широко распахнуты двери архивов и документохранилищ. Захотел почитать стенограмму того печально знаменитого пленума Цекамола, на котором решалась судьба А. Косарева и его сотоварищей. Выправил бумагу в ЦК ВЛКСМ, пришел в Центральный архив ЦК ВЛКСМ и как кандидат в члены ЦК ВЛКСМ попросил: дайте почитать. А архивный руководитель тов. Хорунжий мне и говорит: «Вы бы лучше почитали мой материал в «Комсомольской правде». Что можно — там все есть...» Это называется, попил из реки по имени «факт». Что ж, продавца универмага мы узнаем по импортно-разымпортной упаковке, а архивариуса, видимо, по имеющимся у него в распоряжении дефицитным историческим сведениям. А ведь доступность информации — необходимое условие раскрепощения личности.

Есть у нас и еще одна беда, препятствующая раскрепощению личности. Это заштампованность сознания. Вот я, сравнительно молодой человек, садясь за доклад, допустим, к профсоюзному собранию, волей-неволей начинаю его материалами съезда, в середочку вставляю цитату из В. И. Ленина, а заканчиваю документами недавнего пленума. Словами уважаемых основоположников мы перебрасываемся, как мячиками.

Захожу на почту и читаю огромный плакат: «Без почты, телеграфа и машин социализм — пустейшая фраза. Ленин». Про «плюс электрификацию», каковой увешаны все наши ГЭС, ГРЭС и АЭС, я просто не говорю. Вывелся целый вид деятелей, которые, составив обширную картотеку из цитат классиков, могут с их помощью доказать что угодно.

Не верите? Хорошо, допустим, завтра кому-то пришла в

голову сумасшедшая идея закрыть все театры. Ликвидировать. Та-ак, смотрим на «Т»: Табак... Талейран... Театры... Вот, пожалуйста, из телефонограммы В. И. Ленина А. В. Луначарскому: «Все театры советую положить в гроб»...

Другой пример. Общеизвестно, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Хотите, я, опираясь на авторитет основателя нашей партии и государства, докажу, что прогулки на свежем воздухе лучше кино? Пожалуйста. Н. К. Крупская пишет М. А. Ульяновой из Кракова в декабре 1913 года: «... у нас есть тут партии «синемистов» (любителей ходить в синема), «антисинемистов»... и партия «прогулистов», ладящих всегда убежать на прогулку. Володя решительный антисинемист и отчаянный прогулист...». Не правда ли, довольно убедительно? И пусть потом историки разъясняют, что в телефонограмме сказалось вполне конкретное раздражение Ленина по вполне конкретному поводу. В той же телефонограмме далее следует: «Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте»... Что же касается партии «прогулистов», то это просто шутка, о чем Н. К. Крупская сама и пишет: «Мы тут шутим, что у нас есть тут партии «синемистов...».

Шутка. А сколько неоправданных и непоправимых поступков было совершено в догматическом раже под прикрытием цитат, надерганных только что описанным способом? Этой неизменной ссылкой на классиков как бы демонстрируется такая изумительная преданность идее, что она — преданность — изумила бы даже самих отцов идеи, явись они к нам сегодня. В их округлившихся глазах мы были бы похожи на людей, передвигающихся по суше в лодках только потому, что некогда здесь было море...

У меня вообще сложилось впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой — удобная форма освободиться от личной ответственности. Что-то

вроде коллективной безответственности. Мол, если виноват, то не один, вместе с основоположником и наказывайте. Но ведь, совершая октябрьский, как выражались в те годы, переворот, вся партия большевиков, каждый член РСДРП(б) сознательно или бессознательно брал на себя именно персональную ответственность за судьбу огромной державы, уже отпраздновавшей к тому времени свое тысячелетие. Правда, объективности ради нужно отметить: Россия в ту пору была в кризисе. А вот совсем недавно мы были в предкризисном состоянии. Значит, все-таки прогресс...

Я не насмешничаю, какие тут насмешки, если душа болит и поет, болит, потому что видишь, как народ выставляется нерадивым исполнителем мудрых решений и указаний. Даже приходится слышать сетования: мол, люди совсем разболтались, совсем вкалывать разучились, надо, мол, усилить воспитательную работу среди трудящихся. Знаете, такой трехсотмиллионный детский сад с корпусом строгих воспитателей!

Нынче эпоха узкой специализации. Физик знает физику. Искусствовед — искусство. Инженер — производство. Политик, естественно, должен знать, чего хотят его сограждане. Должен? Как бы не так! У нас выработался особый тип общественного деятеля, который знает, что люди обязаны хотеть. Замечали, наверное, как обыкновенный паренек Вася, выросший у нас на глазах, придя, скажем, на партийную работу, очень скоро начинает снисходительно поучать всех и вся. Стоит ему достичь степеней известных, он автоматически начинает «рубить» во всем, но особенно в сельском хозяйстве и искусстве. Ох, сидит, сидит еще во многих товарищ Жданов, учивший Шостаковича играть на фортепьянах!

Первый секретарь райкома все еще отвечает не перед народом, а перед первым секретарем горкома. Понаблюдайте за собой: в присутствии представителя власти лично

я, например, испытываю генетическую робость, к которой еще Иоанн и Петр десницы приложили. И это вместо того, чтобы хлопнуть руководителя по плечу и спросить: «Ну, как дела, Вася? Как ты там отстаиваешь мои трудовые интересы?» Разве можно хлопнуть по плечу государство? Затопчет, как Медный всадник несчастного Евгения...

Однажды я оказался в обществе довольно крупного ответработника. Мы беседовали. Вдруг к нему сквозь частокол инструкторов и референтов прорвалась заплаканная женщина. Как выяснилось потом, у нее серьезно заболел ребенок, а положить его в специализированную клинику нельзя: очередь, как и везде. Женщина, задыхаясь, проговорила: «Помогите...». Потом встретила строгий взгляд, осеклась и забормотала что-то об отставании здравоохранительного комплекса в городе, о нехватке человекокоек...

Увы, сформировался особый язык, на котором велись да и ведутся разговоры на совещаниях и заседаниях, пишутся статьи и документы. Расскажи на этой «аппаратной латыни», например, про «поворот части стока северных рек» — и вроде бы ничего особенного: наука на переднем крае созидания. А если объяснить это людям человеческим языком — волосы от ужаса встанут, точно черта повидал. И странная же получается вещь: в обычной жизни мы обсуждаем окружающую безалаберщину на общедоступном русском языке, охотно используя самые рискованные выражения, а поднявшись на трибуну или встав на собрании своего родного трудового коллектива, сразу сбиваемся на «номенклатурную латынь», которая нам-то как раз и ни к чему. А что делать, если приучились?

Но аппаратная «латынь» — это лишь отражение заржавевшего мышления огромного управленческого слоя нашего общества. Грустно, что важные мероприятия планируются и обсуждаются на этой самой пресловутой «латыни», в результате очень трудно понять, чем же обернется планов наших громадье в конкретной человеческой

жизни. Вот порешили искоренять пагубу «зеленого змия». Очень правильно! Сказали много перестроечных слов, правда, в основном на «аппаратной латыни». В итоге: народ отучают пить, точно котенка гадить в домашние тапочки.

Два года назад в соавторстве с классиком нашей кинодраматургии Е. И. Габриловичем мы написали сценарий о партийных функционерах районного уровня. Всего-навсего! Сюжет вкратце таков: молодая, энергичная, искренняя женщина, как говорится, замечена и выдвинута на партийную работу, о чем она даже и не помышляла. И вот эта обыкновенная женщина, с трудностями в семейной жизни, решает обновить, встряхнуть райком, десятилетиями играющий в одну и ту же аппаратную игру. Надо ли объяснять, что эта попытка для нашей героини закончилась печально? Печально закончилась и наша с Е. И. Габриловичем попытка: движение принятого и одобренного сценария прекратилось, началось странное торможение, продолжающееся и по сей день. Не знаю, может быть, это наша с мэтром творческая неудача. Ну, а может быть, и наоборот: как раз удача тех, кому не хочется, чтобы искусство совало свой нос в таинство механизмов торможения.

Если кто-нибудь вообразил, что для независимо мыслящих деятелей культуры наступила совершенно безоблачная пора, он заблуждается. Искусство одновременно взламывает стереотипы общественного сознания и заменяет их другими стереотипами. Одновременно. Сокрушение рекомендованных и согласованных стереотипов осуществляется коллективными усилиями, индивидуальная трудовая деятельность тут нежелательна. А настоящий художник (извините за трюизм) — это прежде всего индивидуальность. Вот и получается, что только законопослушный автор, написавший некогда монументальное полотно «Нарком Клим Ворошилов на лыжной прогулке», может

по команде, с ходу создать триптих «Смерть и бессмертие Николая Бухарина». Для иных деятелей, к сожалению, искусство — это не особая форма постижения бытия, а просто-напросто удобный способ проинформировать власти о своей полной благонадежности.

И еще одна горестная, возможно, субъективная заметка: если в застойный период искусству обычно мешала личная тупость того или иного руководителя, то сегодня чаще всего мешает доведенная до абсурда коллегиальность, расцветающая под видом демократизации творческого процесса. Это напоминает решение интимных проблем супружеской пары путем открытого голосования на общем собрании трудового коллектива.

Кстати, раз уж я коснулся сей пикантной проблемы, выскажусь шире. Не хочу, конечно, утверждать, что советское искусство бесполо. Но то, что у него чрезвычайно ослаблено «либидо»,— это факт. Когда любовь героев переходит от товарищеских рукопожатий и долгих взглядов к совсем не противоправным действиям, от которых получаются дети, автор вдруг как-то сразу тушуется, ставит многоточие... Потом героиня в халатике варит кофе, и они обсуждают производственные проблемы.

Это ханжество принимается как данность, а ведь у него тоже своя история. Старшие поколения, возможно, еще и помнят, как некогда хорошему писателю М. Арцыбашеву прилепили ярлык «порнографа», вычеркнули из истории литературы соответствующие книги С. Малашкина, П. Романова и других. Ну, и чего добились? Мой ровесник вынужден изъяснять свои интимные переживания или высоким штилем прошлого века («Я ему отдалась до последнего дня...»), или совсем уж нехорошими словами. Иногда мне думается, что, объявив некогда человека «винтиком», порешили: раз «винтики», то пусть и размножаются штамповкой. Нечего прятаться от революционной действительности в разную там эротику. Формула

«Любовь — это страсть роковая» сменилась соображением, что «Любовь — не вздохи на скамейке...». Но это тема отдельной статьи, которую я намереваюсь написать... Хотя почему отдельной?

Разве можно томление духа разложить на темы, пункты, параграфы? Суета и томление духа. Восторг первых лет перестройки миновал. Настало время конкретных дел. Если бы нашли способ превращать смелейшие публикации в высококачественные продукты питания и предметы быта, один И. Васильев кормил бы пол-России, а Н. Шмелев — вторую половину, и мы вели бы уже речь о том, что перестройка в основном завершена. Но такого способа нет и едва ли будет. Есть только один путь: от раскрепощения духа — к раскрепощению созидательной мощи народа, на которой долгие годы висел заржавевший амбарный замок нелепого жизнеустройства.

Да, мы хотим выговориться, нащупать под слоем ила твердое дно, до конца высказать все свои обиды и сомнения, воздать по заслугам (хотя бы словесно!) всем виновникам нашего неуклонного прозябания. Хотим, нравится это кому-то или не нравится. Только не уподобиться бы сказочной лисичке, которая, обо всем позабыв, начала с остервенением выяснять, кто помогал, а кто мешал ей удирать от собак: глазки, ушки, ножки или хвостик... Известно, что лисичка эта кончила плохо!

Сегодня главное, по-моему,— перестать наконец суетиться и начать созидать, не пугаясь того, что предполагаемое в перспективе «богачество» трудолюбивых граждан пошатнет устои народного государства. Но томление духа пусть обязательно останется, иначе созидание в любой миг может снова обернуться суетой, новым застоем.

Хочу повторить, и совершенно сознательно, то, что говорилось не раз и оттого, может быть, немного стерлось:

Мы — продолжатели героической многовековой истории, наследники замечательной культуры, наследники не-

объятной территории, обладатели огромных природных богатств, мы совершили невиданную революцию, выдержали страшную войну, повлекли за собой к светлому будущему другие племена... Именно поэтому мы просто не имеем права влачить существование, мы обязаны жить полноценной духовной и материальной жизнью! Это наша дань прошлому, это долг перед будущим. Не знаю, будут ли, «косясь, постораниваться и давать нам дорогу другие народы и государства», но я точно знаю: это горько и нелепо, когда другие народы и государства со снисходительной усмешечкой обгоняют нас, точно новенький «мерседес» обгоняет разваливающийся дедушкин «ЗИС».

У П. Я. Чаадаева есть вопрос, обращенный, полагаю, не только к его современникам, но и к потомкам. Вот он: «Думаете ли вы, что такая страна, которая в ту самую минуту, когда она призвана взять в свои руки принадлежащее ей по праву будущее, сбивается с истинного пути настолько, что выпускает это будущее из своих неумелых рук, достойна этого будущего?»

Думаю об этом. Думаю неотвязно...

1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Михайлович Поляков

АПОФЕГЕЙ

Редактор А. В. Пятковская
Технический редактор Г. О. Нефедова

Сдано в набор 03.04.90. Подп. в печать 24.05.90. Формат 70 × 108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 7,35. Уч.-изд. л. 7,34. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4451. Цена 2 р. 80 к.

Литературный фонд РСФСР

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

2 р. 80 к.
Ф